**Русский народ в национальной политике и идеологии 1917 - начала 30-х годов**

Вдовин А. И.

Кому и какая польза от стремления к сближению и дальнейшему слиянию наций. Приход большевиков к власти в России в 1917 году означал, что они получили возможность направлять в соответствии со своими политическими программами процессы сближения и слияния наций в стране и мире. Курс на мировую революцию означал разрыв с идеями патриотизма, начало строительства единой мировой социалистической республики и, соответственно, — новой мировой социалистической общности людей, призванной ликвидировать со временем былые государственные и национальные различия на планете. Представления о безнациональном будущем человечества были свойственны не только большевикам. Они издавна питались космополитическими и интернационалистскими идеями, слабо различавшимися между собой. Эти идеи были присущи значительной части российских интеллигентов, оппозиционных дореволюционному политическому режиму.

Один из первых приверженцев таких идей, молодой Ф. М. Достоевский утверждал: «Социалисты происходили от петрашевцев», от кружка российских интеллигентов, существовавшего в 1844—1849 годах. Вслед за М. В. Буташевичем-Петрашевским многие из них полагали, что «социализм есть доктрина космополитическая, стоящая выше национальностей: для социалиста различие народностей исчезает, есть только люди». Книга «Философские и общественно-политические произведения петрашевцев» (1953) содержит пояснение, что-де термин «космополитизм» употребляется в смысле «интернационализма и гуманизма». Однако это не совсем так. Лидер петрашевцев был убежден, что в исторической перспективе в мире исчезнут не только вражда, но и различия между народами, что нации по мере своего развития утрачивают свои признаки и что только утрачивая эти свои отличительные, прирожденные свойства, они могут стать «на высоту человеческого, космополитического развития».

Подобные представления о национализме и космополитизме развивали и ближайшие предшественники российских социал-демократов и большевиков, — например, идеологи народничества П. Л. Лавров и П. Н. Ткачев. Последний, по определению Н. А. Бердяева, «более чем кто-либо должен быть признан предшественником Ленина».

Согласно Лаврову, в 40-х годах ХIХ века интернационалисты в лице К. Маркса и его последователей возродили космополитическую традицию энциклопедистов ХVIII века, придав ей иной характер и найдя себе иную социальную базу. Подобно космополитам, новые интернационалисты не видели в нациях какой-либо самостоятельной исторической ценности. Напротив, они полагали, что национальности есть лишь «остатки доисторического периода человечества или бессознательные продукты его истории». Сама по себе национальность, говорил Лавров, — «не враг социализма, как современное государство; это не более, как случайное пособие или случайная помеха деятельности социализма». Вместе с тем сторонникам социализма поневоле приходилось действовать в национальной среде, и для успеха этой деятельности социалист, по Лаврову, в сущности, был обязан выступать как «самый ревностный националист». Однако деятельность такого националиста весьма своеобразна. Ее цель — ввести людей своей нации как можно лучше в работу социалистических идей с тем, чтобы в конце концов национальные различия между людьми были преодолены и позабылись.

«Социальный вопрос есть для нас вопрос первостепенный», — значилось в программном документе П. Л. Лаврова (1873), национальный же вопрос должен совершенно исчезнуть перед важными задачами социальной борьбы, для которой границ, языков, преданий не существует: «есть только люди и общие им всем цели». Эти принципы неизбежно требовали самой решительной борьбы против национальной раздельности: «Каждая нация должна делать свое дело, сходясь в общем стремлении к общечеловеческим целям». Считалось, что по достижении этих целей национальности «вступят равноправными членами в будущий строй федерационной Европы», внутренние границы в которой с самого начала будут иметь крайне мало значения, а по мере дальнейшего развития и само различие национальностей станет лишь «бледным преданием истории, без практического смысла».

Еще определеннее и резче по национальному вопросу высказывался П. Н. Ткачев, выступая против тех, кто пытался сочетать приверженность к социализму с приверженностью к национальности. Наиболее значимые мысли, изложенные в этой связи Ткачевым в обширной статье-рецензии «Революция и принцип национальности» (1878), в кратком изложении сводятся к следующему. Между образованными людьми, между людьми психически развитыми нет и не может быть ни эллинов, ни иудеев, есть только люди. Интеллектуальный прогресс стремится уничтожить национальные особенности, которые именно и слагаются из бессознательных чувств, привычек, традиционных идей и унаследованных предрасположений. Все главнейшие факторы буржуазного прогресса — государство, наука, торговля, промышленность — имеют одну и ту же общую тенденцию: все они в большей или меньшей степени стремятся сгладить национальные особенности, когда-то резко разделявшие между собой людей, стремятся смешать последних в одну общую однородную и одноформенную массу и вылить их в один общенациональный, общечеловеческий тип. Восставать против этого нивелирующего и космополитизирующего влияния прогресса могут лишь «социалисты по недоразумению». Принцип национальности несовместим с принципом социальной революции, и он должен быть принесен в жертву последнему — это одно из элементарных требований настоящего социалиста. Заключая рассуждение, Ткачев вновь подчеркивал: невозможно в одно и то же время быть социалистом и оставаться националистом; между принципом социализма и принципом национальности существует непримиримый антагонизм.

Носители подобных взглядов искренне не замечали, что их космополитизм может быть истолкован в националистическом духе и восприниматься со стороны как великодержавный шовинизм численно и культурно доминирующего народа. Напротив, они всячески пропагандировали необходимость уважения каждой народности. Социалист, как подчеркивал Ткачев, обязан был действовать «не оскорбляя ничьего национального чувства, напротив, пользуясь им во всех тех случаях, где это может быть полезно для дела революции, он не должен, однако же, раздувать его какими бы то ни было искусственными мерами; с одной стороны, он должен содействовать всему, что благоприятствует устранению перегородок, разделяющих народы, всему, что сглаживает и ослабляет национальные особенности; с другой — он должен самым энергическим образом противодействовать всему, что усиливает и развивает эти особенности. И он не может поступать иначе». На наш взгляд, лекция П. Л. Лаврова и урок, преподанный П. Н. Ткачевым автору «Записок южнорусского социалиста», были особенно хорошо усвоены и применены позже на практике Лениным и Сталиным.

Определяющим для лидеров российских большевиков были указания основоположников марксизма: «Национальная обособленность и противоположности народов все более и более исчезают уже с развитием буржуазии, со свободой торговли, всемирным рынком»; с уничтожением частной собственности национальные черты народов «неизбежно будут смешиваться и таким образом исчезнут».

Ленин и большевики вслед за своими учителями считали себя не космополитами, а интернационалистами, которым полагалось не отрицать национальности как таковые и даже за малейшей национальностью признавать право на свободное и самостоятельное существование. Тем не менее, Ленин видел задачу своей пролетарской партии в том, что она «стремится к сближению и дальнейшему слиянию наций», что никакого противоречия между пропагандой свободы отделения наций и пропагандой их слияния «нет и быть не может». В марте 1919 года он солидаризировался с Г. Л. Пятаковым в том, что мир без наций — «это великолепная вещь и это будет», и сожалел лишь о том, что будет это не скоро.

Различие между интернационализмом и космополитизмом. В сознании социал-демократов быть интернационалистом значило отрешиться не только от национальных пристрастий и антипатий, но и от национальности как таковой. Многие из видных большевиков открыто кичились своей анациональностью. В. И. Ленин при заполнении формуляра паспорта демонстративно написал о себе: «Без национальности». Л. Д. Троцкий, поясняя свою позицию в национальном вопросе, писал в своей автобиографии «Моя жизнь» (1930): «Национальный момент, столь важный в жизни России, не играл в моей личной жизни почти никакой роли. Уже в ранней молодости национальные пристрастия или предубеждения вызывали во мне рационалистическое недоумение, переходившее в известных случаях в брезгливость, даже в нравственную тошноту. Марксистское воспитание углубило эти настроения, превратив их в активный интернационализм». Отвечая на вопрос, кем он себя считает — евреем или русским, Троцкий говорил: «Ни тем, ни другим. Я социал-демократ, интернационалист». Л. Б. Каменев тоже не считал себя евреем. Л. М. Каганович подчеркивал, что евреем был только по рождению, но «никогда не руководствовался в своей работе национальными мотивами. Я интернационалист». Л. З. Мехлис утверждал: «Я не еврей, я — коммунист». По свидетельству коллег, известный историк, профессор Московского университета А. Я. Аврех гордился тем, что был «ни евреем, ни русским, а только марксистом-интернационалистом».

В этом отношении можно обратить внимание на любопытную характеристику К. Радека, приведенную в книге современного автора, с симпатией относящегося к этому историческому персонажу. «Карл Радек, — пишет В. А. Фрадкин, — был человеком незаурядным, заметным, любопытным, одаренным, одним из самых известных и влиятельных журналистов СССР того времени. А с другой стороны, Карл Радек — типичный деятель международного авантюрного толка, приверженец космополитизма, воспринимаемого часто как интернационализм. При чтении всевозможных материалов и воспоминаний о Радеке складывается впечатление, что он не верил ни в Бога, ни в черта, ни в Маркса, ни в мировую революцию». Как видим, «космополитизм» здесь выступает родовым понятием, а интернационализм — одним из видов последнего. «Среди большевиков нет евреев, есть лишь интернационалисты» — эту фразу и различные ее вариации твердили десятки русских большевиков, родившихся евреями. Считается, что отношение к России, к русской нации, продемонстрированное лидерами большевиков и ультраинтернационалистами в послереволюционные годы, было следствием не их этнического происхождения, а «интернационально-космополитического мировоззрения» (Д. А. Волкогонов).

Здесь уместно сделать пояснение о характере связи, существующей между понятиями «интернационализм» и «космополитизм». На наш взгляд, она обнаруживает себя в следующем. В определенном смысле различие между этими понятиями существенно и принципиально, поскольку базируется на различном классовом основании. Можно сказать, космополитизм — это интернационализм капитала, интернационализм буржуазии. Интернационализм — это космополитизм рабочего класса, «красный космополитизм». В другом отношении, особенно важном для анализируемой нами проблемы, различия между интернационализмом и космополитизмом не существует; они преследуют одну и ту же цель — слияние наций. Возможно, этим можно объяснить позицию одного из свидетелей «последнего сталинского злодеяния». Осмысливая в течение многих лет «дело врачей» и предшествующую ему борьбу с космополитизмом, Я. Л. Рапопорт в своей книге «На рубеже двух эпох» (1988) отметил: «Борьба с космополитизмом не имела ничего общего с теоретической принципиальной дифференциацией двух понятий: космополитизм и интернационализм. Когда-то в трудах теоретиков марксизма они мирно уживались, научно анализировались и не были в такой острой непримиримой вражде, как в описываемый период 40-х годов».

Некоторые основания для такого утверждения имеются. Составители выпущенного в 1926 году «Настольного энциклопедического словаря-справочника» во главе с П. И. Стучкой полагали, например, что «в основе идеологии фашизма лежит националистический патриотизм, резко противопоставляемый социалистическому космополитизму». Без каких-либо изменений это положение включено во второе издание. В третьем издании (1929) «националистический патриотизм» в той же словарной статье о фашизме противопоставлен уже «социалистическому интернационализму». Каких-либо объяснений необходимости такого уточнения справочник не содержит. Надо полагать, самые широкие читательские круги, которым эти издания предназначались, на весьма авторитетном «энциклопедическом» основании могли отождествлять социалистический интернационализм с социалистическим космополитизмом.

«Диаметрально противоположные позиции», на которых якобы стоят космополиты и интернационалисты, в специальной работе Е. Д. Модржинской «Космополитизм — империалистическая идеология порабощения наций» (1958), пожалуй, единственном обстоятельном исследовании проблем космополитизма в советской литературе, изображаются так: «Космополитизм, отрицающий национальный суверенитет, попирающий права народов на свободу и независимость, призывает к слиянию наций насильственным путем, требуя фактически порабощения и закабаления всех народов мира империализмом». Но здесь же читаем: «Слияние наций является целью коммунистов, но на совершенно иной основе. Перспективу слияния наций марксистско-ленинская теория рассматривает с точки зрения объективного процесса общественного развития. Слияние наций может наступить только в результате длительного исторического развития, в результате освобождения наций и расцвета национальных культур». Однако утверждения насчет демагогии и лицемерия космополитов, которыми прикрывается негодная цель — ликвидация наций и национальных культур, и идиллия будто бы полного доверия и добровольного согласия народов, шествующих за пролетарскими интернационалистами по мирному пути слияния наций, в наши дни могут служить разве что примером того, как философы в недавние времена могли выдавать желаемое за действительное.

Космополиты и интернационалисты, по общим основаниям и целям их доктрин, враждебны национальной идее и нации как таковой. Например, когда представители евреев, ратовавшие за создание условий «возрождения и расцвета» своего народа, обратились в апреле 1920 года за поддержкой к Ленину (ходатаем выступал М. Горький), они встретили полное непонимание. Ленин категорически заявил, что к сионизму он относится крайне отрицательно. Во-первых, — сказал Ленин, — национальные движения реакционны, ибо история человечества есть история классовой борьбы, в то время как нации — выдумка буржуазии; и потом, главное зло современности — государства с их армиями. Государство является орудием, с помощью которого меньшинство властвует над большинством и правит всем светом. Основная цель — уничтожение всех государств и организация на их месте союза коммун. Сионисты же мечтают, как бы прибавить еще одно национальное государство к уже существующим.

Враждебность космополитов и интернационалистов национальной идее находила свое крайнее выражение в попытках игнорирования, «отмены», нигилистическом отношении к нации. Можно назвать это ультраинтернационализмом, вульгарным интернационализмом. Общность космополитизма и интернационализма проявляется в попытках форсирования интеграционных, объединительных процессов в многонациональных сообществах, в ускорении сближения и слияния наций (это — «нормальный», «правильный» интернационализм). При угасании революционного запала и классового шовинизма интернационализм начинает трактоваться как «дружба» и «братство» народов без учета и безотносительно к их классовой структуре и характеру межнационального сближения. Такой интернационализм, по Ленину, ничего общего с настоящим, пролетарским не имеет. И называл он его не иначе как «мелкобуржуазный национализм».

Формулируя тезисы ко II конгрессу Коминтерна (июнь 1920 г.), Ленин призывал к борьбе с «наиболее закоренелыми мелкобуржуазно-национальными предрассудками», которая «тем более выдвигается на первый план, чем злободневнее становится задача превращения диктатуры пролетариата из национальной (т.е. существующей в одной стране и неспособной определять всемирную политику) в интернациональную (т.е. диктатуру пролетариата, по крайней мере, нескольких передовых стран, способную иметь решающее влияние на всю мировую политику)». Соответственно определялся и пролетарский интернационализм, требующий: 1) подчинения интересов пролетарской борьбы в одной стране интересам этой борьбы во всемирном масштабе; 2) способности и готовности со стороны нации, осуществляющей победу над буржуазией, идти на величайшие национальные жертвы ради свержения международного капитала. Трактовка же интернационализма в духе равноправия и дружбы народов, как тогда же отмечал Ленин, соответствовала мелкобуржуазным представлениям об этом феномене. «Мелкобуржуазный национализм, — писал он, — объявляет интернационализмом признание равноправия наций и только, сохраняя... неприкосновенным национальный эгоизм». Подлинный интернационалист, по Ленину, считал националистическими мещанами всех, кто защищает лозунг национальной культуры, сам же следовал императиву: «Не «национальная культура» написано на нашем знамени, а интернациональная (международная), сливающая все нации в высшем социалистическом единстве».

С этой точки зрения известную формулу о расцвете при социализме национальной по форме и социалистической по содержанию культуры следует понимать как национальную по форме и денационализированную по содержанию. В результате этого процесса нации должны были исчезнуть. С отказом от социализма оставшиеся от советских времен «национальные формы» наполняются реальным, не социалистическим содержанием. В действительности, социалистическое денационализированное содержание вытесняется воскресающим родо-племенным, феодальным и буржуазным (национальным и космополитическим) содержанием. Главный выбор нашего времени состоит в выборе между последними ориентирами — буржуазным и космополитическим.

Русские обязаны возместить другим народам неравенство? Социализм виделся Ленину обществом, которое «гигантски ускоряет сближение и слияние наций». Ради скорейшего достижения этой цели от русской нации требовалось возместить другим нациям «то неравенство, которое складывается в жизни фактически». Интернационалист Н. И. Бухарин говорил на XII съезде партии (1923), что русский народ необходимо искусственно поставить в положение более низкое по сравнению с другими народами и этой ценой «купить себе настоящее доверие прежде угнетенных наций». М. И. Калинин призывал поставить малую национальность в «заметно лучшие условия» по сравнению с большой. Эти установки в той или иной мере проводились в жизнь до тех пор, пока существовал Союз ССР, они же, на наш взгляд, в определенной степени обусловили его распад.

В постсоветский период утверждается, что интернационализм надо понимать как «движение к другим народам, стремление жить с ними в мире и согласии, обмениваться культурными ценностями», а «историческая миссия многонационального государства состоит в том, чтобы привести свои нации в мировое содружество» (С. Н. Артановский). Это скорее уже некий выхолощенный, «мелкобуржуазный» интернационализм, весьма далекий от своего настоящего прародителя и предназначения, к тому же, как видим, вполне мирно объединенный со своим собратом и неприятелем космополитизмом. При характеристике современных общественных движений и общественного сознания места для интернационалистов порой уже и вовсе не находится. Например, отмечается, что русская нация ныне разделилась на два непримиримых лагеря: «В одном — великодержавники, славянофилы и евразийцы, в другом — западники, интегралисты или космополиты» (Г. Х. Шахназаров).

Впрочем, сегодня всякому, кто отвергает коммунизм как цель общественного развития (и, соответственно, отказывается от идеологии, обосновывающей достижение этой цели), не остается ничего другого, как предать забвению и принципы интернационализма, и само это понятие. Ближайшим понятием, способным заменить «интернационализм», оказывается «космополитизм». К примеру, преимущества «красных директоров» перед приверженцами нового курса на капитализацию России А. С. Ципко видит в том, что эти директора — «все еще советские люди, не имеют национальных пристрастий и привычки выяснять, у кого сколько “русской крови”. Они куда более интернационалисты и космополиты, чем вожди беловежской партии».

Однако последовательные сторонники космополитической идеи интернационалистов не жалуют. Их логика хорошо представлена в докладе знаменитого Герберта Уэллса «Яд, именуемый историей», с которым он неоднократно выступал во второй половине 1930-х годов. Писатель исходил из того, что опасность для мировой цивилизации заключена в самом существовании наций и их искусственном культивировании в каждой отдельной стране патриотами, а главным образом — историками. Последние, говорил Уэллс, своим профессиональным интересом к прошлому чрезмерно подчеркивают общественные и экономические особенности народов, навязывают молодежи мысли о национальных различиях, учат быть гражданами и патриотами. А поступать во имя всеобщего благоденствия надо, по убеждению писателя, прямо наоборот. Если мы хотим, чтобы мир был единым, то, доказывал он, «мы не должны исходить из понятий нации, государства». Культурному учителю вообще не пристало говорить «наша национальность, наш народ, наша раса», ибо «вся эта банальная чепуха глупа и лжива». Все факты реальной действительности вопреки историческому прошлому свидетельствуют в пользу единого мирового государства — космополиса, естественного, а в современных условиях просто необходимого Всемирного Братства людей. Его созданию и должно было бы способствовать преподавание истории. В качестве первого шага в нужном направлении предлагалось устроить всесожжение старых учебников истории и отлучить от преподавания педагогов, для которых «исходное понятие — нация... излюбленное словечко — интернациональный, а не космополитический». Как видим, само слово «интернациональный» отвергается, потому что в соответствии со своим латинским происхождением (inter, между и natio, nationis, народ) означает связь между реально существующими нациями. Нациям же, согласно Уэллсу и ему подобным радетелям человечества, не должно быть места ни в действительности, ни в мыслях.

Нынешние космополиты, равняясь на своих классиков, тоже порой представляют интернационалистов заурядными националистами, только с приставкой «интер». Утверждая, что сами создатели «научного коммунизма» были космополитами и этого не скрывали, один из новейших отечественных космополитов пишет, что последователи К. Маркса лишь произвели замену национальной вражды на вражду классовую, провозгласив ее более прогрессивной, более культурной, чем национальная. «Но кто измерит, — восклицает он, — какой национализм больше нанес страданий, больше пролил крови и слез: с приставкой интер или без таковой. Предпочтение любого из этих измов другому тем паче сомнительно, что слить классы оказывается не более реально, чем слить нации». Единственный способ преодоления национализма усматривается в космополитизме, в отказе от патриотизма, национальной гордости, в освобождении от ощущений национального в себе. Ибо, как утверждается, именно национализм — от самых необидных форм национального эгоизма до патологии шовинизма — реальное состояние национального самосознания «я». Всякий патриот своей нации есть уже националист — эгоист, предпочитающий свою нацию любой другой; всякий, кто согласен подписаться под словами Г. Р. Державина «Мила нам добра весть о нашей стороне, // Отечества и дым нам сладок и приятен!» — это законченный национал-эгоист; национальная гордость — не что иное, как скользкая дорожка в национальную кичливость, ура-патриотизм, ксенофобию. Предлагается навеки реабилитировать киренаиков с их формулой «где хорошо, там и отечество». Полагая, что «нейтральное проявление национального духа почти невозможно», видимо, научившийся такому искусству автор утверждает: «Космополитизм не отрицает национального самосознания, национальной культуры»; всякому национализму должен быть противопоставлен «национальный альтруизм, то есть космополитизм — совмещающий любовь к своему отечеству с любовью ко всему миру» (Звезда. 1993. № 8).

И все было бы хорошо в этих благостных призывах, если бы автор сообщил, какими реальными путями можно привести народы разных стран и национально-государственных образований в райскую страну, где все поклоняются апостолу Павлу с его заветом: «Несть эллин, несть иудей». Ю. М. Нагибин, например, считал, что осуществить апостольский завет очень просто. «Подставим под эллина русского, а под иудея все остальные нации, существующие на планете», — завещал он в свою очередь, и проблема будет решена. Правда, почему-то он был убежден, что есть только один народ, не желающий этого. «Русские, конечно, перепугаются: пропадет богатство национальных красок. Ничего не пропадет», — говорил он с такой уверенностью, будто держал в руках результаты референдума, и все остальные народы уже сказали свое «Да». Действительность, однако, заставляет сильно сомневаться в такого рода заверениях. Рецепт снадобья, которое излечивало бы патриотов от любви к родине, от национальных предпочтений и превращало бы их всех разом в национальных альтруистов, ни древними, ни новейшими космополитами не изобретен. Обращающиеся же в космополитическую веру одиночки способны лишь на подвиг самый прозаический — отправиться как можно скорее в открытое еще в V веке до новой эры киренаиками место, где всегда лучше, чем на родине, и где дым былого отечества не раздражает.

Правда, и проповедники космополитизма в утверждении своих взглядов ведут себя порой не менее воинственно, чем шовинисты. В одном из выпусков публицистических выступлений писателей Москвы и Санкт-Петербурга в поддержку Президента Российской Федерации (Что дальше? М., 1993. Вып. 3) Б. Н. Ельцину был адресован весьма своеобразный упрек за потакание «парламентскому большинству», на языке Нагибина — «сброду хасбулатовских прихвостней». «Вы пропустили мимо ушей, — писал он, — вещие слова Лермонтова: “Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал”. И он приполз, этот злой чечен, на берег Москвы-реки, наводнив город своими воинственными соплеменниками, которые терроризируют рынки, убивают шоферов такси, стреляют в ресторанах и вывозят из Москвы несметные сокровища. А главный герой с жестокой настойчивостью рвется в маленькие Сталины. А может, русскому народу захотелось по-мазохистски после норманнов, татар, ляхов, французов, остзейских немцев, евреев, грузин и украинских кацапов попробовать чеченской плети? Как-то не хочется этому верить...» Не хочется верить и глазам своим, читая подобное. Видимо, некоторые последователи Диогена Синопского готовы вслед за ним не только слыть гордым космополитом, но и от излишков культуры избавиться. Первый «гражданин мира», как известно, всю культуру объявлял насилием над человеческим существом и был преизрядным циником.

Современные троцкисты также не видят каких-либо различий между интернационализмом и космополитизмом. Они заявляют: «В сущности, марксизм был всегда вполне космополитическим движением» (Бюллетень Спартаковцев. 1992. № 3). Но в отличие от «чистых» космополитов — чистых от какого бы то ни было налета классовости и классового понимания этого феномена — троцкисты понимают под космополитизмом интернационализм, который они якобы уберегли от национал-большевистских извращений.

В этой связи можно обратить внимание на оригинальную трактовку соотношения интернационализма и национализма, намеченную в 1995 году известным историком и политологом Л. А. Гордоном. Обосновывая «логику разрушения государственного социализма», он представляет СССР кануна перестройки как страну, для которой характерны «авторитарный режим, социальный патернализм, унитарное государство, национализм и противостояние Западу». Цивилизовать такую страну может лишь «политическая и социальная демократия, федерализм, интернационализм, сближение с Западом». Согласно такой логике, интернационализм является родовым признаком капиталистического Запада, а к Союзу CCР якобы не имел отношения.

Возрождение национальных культур при социализме — самая опасная форма национализма? Ярким примером революционера, понимавшего интернационализм в таком ультралевом выражении, являлся, как отмечалось, Л. Д. Троцкий. Разделявшая его взгляды «горстка таких же догматиков и одновременно романтиков, революционеров-космополитов, каким оставался до самой гибели он сам» (Д. Штурман), была не такой уж и маленькой. Как течение общественной мысли и как общественное движение троцкизм живет и в наши дни. Национальная культура в троцкистской трактовке — синоним культуры буржуазной, которая в переходный период к социализму должна была разделить судьбу этого класса. Возрождение наций при социализме, а тем более изобретенный Сталиным «расцвет» национальных культур воспринимался ими как самая опасная форма национализма.

В. А. Ваганян, широко известный в 20-е годы автор работ по философским проблемам культуры, один из членов-учредителей Общества воинствующих материалистов и член его президиума, представлял в своей книге «О национальной культуре» (1927) развертываемую в СССР культурную революцию явлением, «обратным, противоположным национальной культуре», процессом, при котором «мы не только не создаем и не обогащаем так называемую «национальную культуру» своей настоящей культурной революцией, а наоборот, мы разрушаем, убиваем, хороним и вбиваем осиновый кол в могилу этого остатка и самого опасного пережитка буржуазной культуры».

Формирование социалистической общности людей и ее культуры (слияние наций) мыслилось при этом как процесс вытеснения элементов национальной культуры (которые якобы не могли быть никакими иными, кроме как буржуазными, крепостническими, националистическими, даже каннибальскими) и наращивания элементов культуры интернациональной — культуры «декабристов, Белинских, Чернышевских, Плехановых, Ленина». За пределами великорусских областей задача партии усматривалась в том, что «она выявляет элементы интернациональной культуры у себя дома и создает, сажает на почву условий быта своего народа интернациональную культуру более высоко развитых народов». В мировом масштабе, согласно Троцкому (статья «Мысли о партии», 1923), разрешить национальный вопрос было можно, только обеспечив за всеми нациями «возможность ничем не стесненного приобщения к мировой культуре — на том языке, который данная нация считает своим родным языком».

Многообразие языков, естественно, выступало в качестве фактора, замедляющего приобщение к мировой культуре. «Уже теперь, — писал по этому поводу В. А. Ваганян, — существование множества национальных языков является колоссальным препятствием хозяйственного общения народов». Однако препятствие это казалось не таким уж труднопреодолимым. Самодовлеющей ценности в национальных языках не усматривалось. Считалось, что они представляют собой лишь «формальный признак» культуры. К тому же ни один из национальных языков не был «чистым», каждый из них представлялся продуктом сложного взаимодействия целого ряда языков, многократных исторических наслоений, каждый не раз «скрещивался со многими языками, одних ассимилируя, от других вбирая большое число корней и понятий». Учитывая все это, предлагалось на первых порах всемерно развивать национальные языки «как кратчайший путь внедрения интернациональной культуры пролетариата в народные толщи» и осуществлять таким образом создание «интернациональной культуры на национальных языках».

Впрочем, этот путь представлялся не единственным и не главным. Законы предстоящей эпохи, по мнению Ваганяна, таковы, что не только не помогают замыканию и развитию национального языка, но в гораздо более ускоренном темпе продвигают дело стирания межнациональных граней, дело поглощения слабых, неразвитых, небогатых языков и наречий наиболее сильными и мощными языками. Иначе говоря, Ваганян утверждал: «При социализме совершится процесс, который диалектическим противоречивым путем приведет — и не может не привести — к постепенному уничтожению национальных языков, слиянию их в один или несколько могучих интернациональных языков». Видимо, не случайно в возглавляемой Троцким Красной Армии изучение эсперанто до 1923 года было особым знаком интернационализма. Этот искусственный международный язык мыслился как язык, могущий в будущем прийти на смену национальным языкам всех народов мира. Во второй половине 20-х годов подобную роль в масштабах СССР троцкисты стали отводить русскому языку. Ваганяну он представлялся языком «всесоюзной коммунистической культуры, которую мы вырабатываем все вместе. Но ко всему этому русский язык есть межнациональный язык нашего Союза... далее, это язык нашей единой союзной экономики».

Выбор модели мировой социалистической республики для народов Земли в 1920—1922 годах. При образовании СССР в 1922 году споры шли, в сущности, о начальной форме будущего единства народов мира, которая могла бы стать первой из переходных форм сближения и слияния народов в мировой социалистической общности людей. Ленин требовал создания Союза ССР вместо предлагаемой Сталиным Российской республики не столько из-за опасений усиления централизма и русификаторства, сколько предвидя возможность вхождения в СССР других стран по мере успехов революции на Востоке и Западе. Во взглядах на первичную форму государственного единства социалистических наций Ленин в сентябре—декабре 1922 года перешел на позицию, близкую к той, которую Сталин занимал в июне 1920 года.

Тогда перед II конгрессом Коминтерна Ленин разослал «Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам» целому ряду своих соратников, в том числе и Сталину, находившемуся в Харькове, в штабе Юго-Западного фронта, и просил сделать замечания по этому «наброску». Сталин в своих замечаниях к тезисам предложил включить в них положение о конфедерации, как об одной из переходных форм сближения трудящихся разных наций. Аргументируя предложение, он писал: «Для наций, входивших в состав старой России, наш (советский) тип федерации можно и нужно считать целесообразным как путь к интернациональному единству. Мотивы известны: эти национальности либо не имели в прошлом своей государственности, либо потеряли ее давно, ввиду чего советский (централизованный) тип федерации прививается к ним без особых трений». Однако, полагал далее Сталин, этого нельзя сказать о национальностях, которые не входили в состав старой России, долгое время существовали как самостоятельные образования, развили свою собственную государственность и которые, если они станут советскими, вынуждены будут силою вещей стать в те или иные государственные отношения к Советской России. Например, будущие Советская Германия, Польша, Венгрия, Финляндия.

И. В. Сталин сомневался, что народы этих стран, став советскими, согласятся пойти сразу на федеративную связь с Советской Россией «типа башкирской или украинской». Советский тип федерации и вообще федерация были бы еще более неприемлемы, по мнению Сталина, для отсталых национальностей зарубежного Востока. Исходя из этих соображений, в ленинские тезисы о переходных формах сближения трудящихся разных наций и было предложено «внести (наряду с федерацией) конфедерацию. Такая постановка придала бы тезисам больше эластичности, обогатила бы их еще одной переходной формой сближения трудящихся разных наций и облегчила бы национальностям, не входящим ранее в состав России, государственное сближение с Советской Россией».

Вспоминая об этом своем предложении в защиту конфедерации, Сталин говорил 25 апреля 1923 года участникам заседания секции XII съезда партии по национальному вопросу: тогдашнее предложение Ленина сводилось к тому, что «мы, Коминтерн, будем добиваться федерирования национальностей и государств. Я тогда сказал... не пройдет это. Если Вы думаете, что Германия когда-либо войдет к Вам в федерацию на правах Украины, — ошибаетесь. Если Вы думаете, что даже Польша, которая сложилась в буржуазное государство со всеми атрибутами, войдет в состав Союза на правах Украины — ошибаетесь. Это я говорил тогда. И товарищ Ленин прислал грозное письмо — это шовинизм, национализм, нам надо центральное мировое хозяйство, управляемое из одного органа».

Что же касается конечной формы государственного и национального социалистического единства, то она в первые годы революции никаких разногласий среди большевиков не вызывала. Азбучной истиной (по «Азбуке коммунизма» Н. И. Бухарина и Е. А. Преображенского, написанной в октябре 1919 г.) считалось, что со временем, когда Всемирный федеративный союз «окажется недостаточным для создания общего мирового хозяйства и огромное большинство на опыте осознает эту недостаточность, будет создана единая мировая социалистическая республика».

Троцкистские представления о путях утверждения социализма на планете Земля в наибольшей степени соответствовали ультрареволюционной ментальности первых лет советской власти и всех 1920-х годов. Л. Д. Троцкий в этом вопросе нисколько не противоречил В. И. Ленину, ключевая мысль теоретического наследия которого может быть выражена положением: «Дело всемирной пролетарской революции (есть) дело создания всемирной Советской республики». Троцкий нисколько не противоречил и Конституции СССР 1924 года, объявлявшей образованное в конце 1922 года интернациональное государство открытым «всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем».

Воззрения Л. Д. Троцкого на национальный вопрос в своей основе были близки к люксембургианству, имевшему немало сторонников в большевистской партии. В их числе были такие известные деятели, как Н. И. Бухарин, Л. Г. Пятаков и, как это ни покажется странным, едва ли не все члены коллегии Наркомнаца, исключая лишь председателя. «Открыто или полусознательно, — писал Троцкий в 1930 году, — они стояли на уже известной точке зрения Розы Люксембург: при капитализме национальное самоопределение невозможно, а при социализме оно излишне». Будучи, по его же наблюдениям, русифицированными инородцами, они свой абстрактный интернационализм противопоставляли реальным потребностям развития угнетенных национальностей. Л. Д. Троцкий полагает, что тем самым они объективно возрождали старую традицию русификаторства и великодержавности, с чем трудно согласиться. Абстрактный интернационализм никак не мог соответствовать реальным потребностям также и русского народа. Можно сказать, русского — прежде всего. В Наркомнаце не случайно не видели никакой необходимости в русском комиссариате, в то время как другие народы таковые имели.

Стремление с помощью Наркомнаца решать национальные проблемы в стране без представительства и учета интересов русского народа находило свое выражение не только в отсутствии специального отдела, но и в том, что само участие русских в работе комиссариата считалось вовсе не обязательным, если не сказать вредным. Характерен в этой связи ход мыслей С. С. Пестковского. Троцкий представлял его старым польским революционером, ближайшим помощником Сталина в первые двадцать месяцев советского режима. «Проэкзаменовав себя строго, — писал Пестковский в 1923 году о выборе им своего места в рядах борцов за социализм, — я пришел к убеждению, что после иностранных дел единственным ведомством, подходящим для меня, является комиссариат по делам национальностей. Я сам инородец,— рассуждал я, — следовательно, у меня не будет того великорусского национализма, который вреден для работы в этом комиссариате». Решившись, он отправился к Сталину и заявил ничтоже сумняшеся: «Я вам “сделаю” комиссариат», с чем Сталин якобы и согласился. Этот весьма выразительный исторический эпизод говорит как раз о том, что если и другие «люксембургианцы-инородцы» думали так же, то вряд ли следует грешить на них, как на «объективно великорусских» националистов.

Патриотами какого Отечества были большевики в период ожидания мировой революции? Почти все 20-е годы истории нашей страны прошли в ожидании мировой революции и готовности российских адептов к сражениям на ее баррикадах. Брестский мир был, как известно, заключен не от избытка миролюбия в большевистской среде. Противники этого «похабного» мира выступали против его подписания под провокационными лозунгами: «Ни мира, ни войны» (Троцкий) и «Немедленная революционная война» (левые коммунисты во главе с Бухариным). «Раз началась пролетарская революция, — говорил, например, М. Н. Покровский, оказавшийся в тот момент в стане бухаринцев, — она должна развертываться во всеевропейском масштабе, или она падет и в России». Ленин миротворцем был лишь потому, что в отличие от своих соратников сознавал невозможность собрать под знамена всесветной революции достаточное число боевиков. «Мы — оборонцы теперь, с 25 октября 1917 года, мы — за защиту отечества с этого дня», — выставил он тогда свое новое кредо, разъясняя попутно, что принимать военную схватку с бесконечно более сильным неприятелем, когда не имеешь армии, значит совершать преступление с точки зрения защиты отечества. Однако и отечество, и патриотизм в трактовке Ленина своеобразны. Это был «социалистический патриотизм» и «родина» абстрактного мирового пролетариата, патриотами которой заведомо не могли считаться не только «буржуи», но и все другие непролетарские, мелкобуржуазные массы — подавляющее большинство населения России и других стран мира. Патриотизм последних мог быть, в представлениях большевиков, только национализмом и шовинизмом.

Первое поколение советских людей в советской стране воспитывалось не для защиты родины, а для Всемирных идеалов, способы осуществления которых в первые революционные годы никак не камуфлировались. Ленин говорил на IX партконференции (1920) о необходимости красной интервенции на Запад. В этом же духе был составлен приказ М. Н. Тухачевского о походе на Варшаву. Троцкий намечал вторжение в Индию. М. В. Фрунзе писал: «Мы — партия класса, идущего на завоевание мира». Только с учетом таких умонастроений и действий можно объяснить, почему нарком просвещения А. В. Луначарский, выступая в сентябре 1918 года перед учителями с лекцией «О преподавании истории в коммунистической школе», был по-революционному безапелляционен: «Преподавание истории в направлении создания народной гордости, национального чувства и т.д. должно быть отброшено; преподавание истории, жаждущей в примерах прошлого найти хорошие образцы для подражания, должно быть отброшено».

Доводов у наркома было много. Главный — в том, что только благодаря «проклятой национальной школе в Германии, где немцы искуснее всех поставили свое преподавание “патриотизма”... возможна стала мировая бойня». Воспитывать в учениках «здоровую любовь к родине» (к этому были призывы на недавнем Всероссийском учительском съезде), родному языку — неверно уже потому, что «здоровые» чувства есть не результат воспитания, а следствие обстоятельств, языковой среды, окружающей природы, одним словом, — привычка. Специально воспитывать ее — «это глупость, это все равно, что учить блондина быть блондином». Говорить, будто русский язык самый лучший, по Луначарскому, было равносильно утверждению, что французский и немецкий никуда не годятся. Кроме того, это значило бы не понимать «проклятие человечества, что мы не можем слиться в единую человеческую семью, потому что языки, разнородность быта создают препятствие такому братству».

Социалисты, настаивал А. В. Луначарский, докладывая на I Всесоюзном учительском съезде задачи просвещения в системе советского строительства (январь 1925 г.), «должны положить в основу преподавания интернациональный принцип, принцип международности, принцип всеобщности человечества». Поэтому единственно правильным полагалось «воспитывать интернациональное, человеческое». Стирая грань между интернациональным и космополитическим, нарком призывал: «Воспитывать нужно человека, которому ничто человеческое не было бы чуждо, для которого каждый человек, к какой бы нации он ни принадлежал, есть брат, который абсолютно одинаково любит каждую сажень нашего общего земного шара, и который, когда у него есть пристрастие к русскому лицу, к русской речи, к русской природе, понимает, что это — иррациональное пристрастие».

Естественно, интернационализм в такой трактовке не мог не вступать в противоречие с понятием государственного и национального патриотизма. «Конечно, идея патриотизма — идея насквозь лживая», — продолжал Луначарский «просвещать» учителей на Всесоюзном учительском съезде, утверждая, что в проповеди патриотизма были заинтересованы только эксплуататоры, для которых «задача патриотизма заключалась в том, чтобы внушить крестьянскому парнишке или молодому рабочему любовь к “родине”, заставить его любить своих хищников». В конце концов, «что такое, в самом деле, родина при капиталистическом строе, что такое каждая отдельная страна, держава?» — вопрошал он и не преминул подчеркнуть эфемерность и историческую случайность пребывания различных «родин» и «держав» на свете белом: «Очень редко вы найдете такую страну, в которой случайно граница ее совпадает с границами расселения данного народа. В огромном большинстве случаев вы имеете державы, подданные которых в демократической стране прикрыты лживым термином “граждане” — люди различных национальностей». Таким образом, школьные учителя призывались к необходимости воспитывать из своих питомцев граждан — не «лживых», а «настоящих». А насчет патриотизма нарком успокаивающе заверял: «Естественно, что этот патриотизм сейчас разлагается».

Немало способствовавший такому разложению интернационалист Г. Е. Зиновьев в своем вступительном слове на V конгрессе Коминтерна (17 июня 1924 г.) с сожалением отмечал, что произошла ошибка «в оценке темпа» мировой революции, «и там, где надо было считать годами, мы иногда считали месяцами». Ошибка в сроках объясняла, почему «нам предстоит еще завоевать пять шестых земной суши, чтобы во всем мире был Союз Советских Социалистических республик». Впадать в уныние по случаю запаздывания революции, по Зиновьеву, было величайшим оппортунизмом. Тем не менее через три года пришлось признать неточным и темп, «рассчитанный» Зиновьевым. В 1927 году в призывах к годовщине революции под 13-м номером значилось: «Да здравствует мировой Октябрь, который превратит весь мир в Международный Союз Советских Социалистических Республик!» А о сроках можно было узнать следующее: «Первые десять лет международной пролетарской революции подвели капиталистический мир к могиле. Второе десятилетие его похоронит».

Конечно, не 13-е число тому виной (хотя свою дурную славу оно на сей раз полностью подтвердило), но и новый прогноз через 10 лет оправдался с точностью до наоборот. Однако энтузиасты от мечты своей не отступались. В связи с празднованием 20-й годовщины Октября по инициативе М. Горького готовился пятитомный труд, призванный показать достижения социалистического строительства. Заключительный том предполагалось назвать «Взгляд в будущее» и включить в него «научно обоснованные фантазии». В 1936 году состоялось несколько заседаний авторского коллектива, в ходе которых известнейшие ученые, деятели культуры и искусства, хозяйственники пытались описать, что ждет в ближайшем будущем Европу и мир в целом. При этом писатель В. М. Киршон затеял целую дискуссию на тему: «Весь мир через 15—20 лет будет социалистическим или только одна Европа?» Грядущая победа коммунизма по-прежнему мыслилась как Всемирный СССР. Об этом пели повсюду: «Два класса столкнулись в смертельном бою, // Наш лозунг — Всемирный Советский Союз. // Наш лозунг — Всемирный // Советский Союз». Что же касается официальных трактовок этого вопроса, то к середине 30-х годов они стали звучать куда как сдержаннее.

Как представляется, отношение к мировой революции, утвердившееся в сталинском штабе, довольно точно отражают фальшивые постановления ЦК ВКП(б), запущенные советскими спецслужбами в целях дезинформации потенциальных военных противников. В одном из них, якобы от 24 мая 1934 года, значилось, что «ВКП(б) должна временно отказаться от самого своего идейного существа для того, чтобы сохранить и укрепить свою политическую власть над страною». В частности, партия и правительство должны были «считаться с вынужденной необходимостью отсрочки мирового торжества коммунизма и своевременно провести нелегкий маневр отступления внутри страны для усиления своей сопротивляемости вероятному внешнему натиску». С учетом ситуации в стране и мире, как «категорически» заявлялось в другом «постановлении» (от 15 августа 1934 г.), мировая революция «может быть достигнута лишь при наличии мощного коммунистического государства, цитадели большевизма и неиссякаемого резервуара коммунистического энтузиазма и кадров революции» (Б. И. Николаевский). На укреплении цитадели, а вовсе не на раздувании мирового пожара, на горе всем буржуям, и решено было тогда сосредоточиться. Тем самым изготовители «постановлений» рассчитывали внести успокоение и в среду мировой буржуазии.

История переоценки темпов мировой революции лидерами большевиков заставила забежать несколько вперед. Возвращаясь в 20-е годы, следовало бы отметить роль официозных историков-марксистов в освещении национальной истории своей страны.

Как пытались предать смерти и забвению историю дореволюционной России. Наибольшим влиянием в 20-е годы обладала школа академика М. Н. Покровского. Историки этой школы в полном соответствии с установками Коминтерна и общими устремлениями тех лет игнорировали даже ленинское указание о наличии двух патриотизмов в русской истории (соответствующих ленинским «двум нациям в каждой современной нации»), полагали, что патриотизм не бывает никаким иным кроме как казенным и квасным, и не иначе как национализмом и шовинизмом.

Покровский, бессменно командовавший историческим фронтом большевиков в течение пятнадцати пореволюционных лет, еще при жизни завоевал себе известность более громкую, чем у литературного персонажа, распорядившегося «закрыть Америку». В 1922—1923 годы во многом благодаря его усилиями была закрыта для изучения в государственной общеобразовательной школе русская история. Предварительно историк-революционер «обосновал» своими разоблачительными учеными трудами необходимость этой меры. Потому, дескать, что отечественная история шла не тем путем, каким ей следовало идти, что включение нерусских народов в русло единой государственности было абсолютным злом, и по другим, — столь же революционным, сколько и абсурдным основаниям. В школе ставились под сомнение и отрицались сами понятия «Россия», «патриотизм», «русская история».

Никакого иного понятия кроме как «тюрьма народов» для многонациональной дореволюционной России в школе не предлагалось. Название «Россия», по Покровскому, по-настоящему надо писать в кавычках, «ибо «Российская империя» вовсе не была национальным русским государством. Это было собрание нескольких десятков народов... объединенных только общей эксплуатацией со стороны помещичьей верхушки, и объединенных притом при помощи грубейшего насилия». Естественно, никаких общенациональных патриотических чувств к такому отечеству-тюрьме, по логике историка, быть не могло. Патриотизм, утверждал он, это болезнь, которой могут страдать только мелкие буржуа, мещане. Ни капиталисты, ни тем более пролетарии ей не подвержены. В статье, написанной к десятилетию Октября, Покровский утверждал, что в СССР этой болезнью «вместо миллионов, как это было в Западной Европе, вместо сотен тысяч, как это было у нас в начале 1917 года, хворают только единицы». В 1918 году при заключении Брестского мира российский пролетариат, по Покровскому, якобы продемонстрировал полное отсутствие патриотизма, никак не прореагировав на потерю якобы Россией восемнадцати якобы русских губерний. «Пролетариат, — писал он, — не стал проливать свою кровь для защиты географического отечества, на самом деле являвшегося результатом освященных древностью феодальных захватов. Он громко и внятно сказал всем, что защита его классовых интересов, защита завоеваний революции для него важнее всякой националистической географии». Тем самым пролетариат якобы навсегда покончил с патриотизмом — «одним из китов мелкобуржуазного миросозерцания». Признавая, что наибольшая угроза большевикам может исходить лишь из лагеря патриотов, Покровский успокаивал власть предержащих. Вновь-де восстановить иллюзии «националистического отечества — это задача материально неосуществимая», мелкобуржуазные настроения такого рода могут сплотить лишь совершенно ничтожные кучки, не представляющие уже серьезной опасности для революции. С «кучками» этими, как увидим дальше, власти вели борьбу в буквальном смысле слова не на жизнь, а на смерть.

В таком же духе, несколько выправляя левизну Покровского, о патриотизме писала в начале 30-х годов Малая советская энциклопедия, рассчитанная на самое широкое внимание советских людей. В статье о патриотизме, помещенной в шестом томе МСЭ, отвергалось понимание этого феномена феодальными и буржуазными историками как «природного чувства, присущего чуть ли не всякому животному» (видимо, отсюда и нынешнее уничижение: «Патриотизм — чувство биологическое, оно присуще даже кошке»), ибо привязанность животного к определенному месту продолжается только до тех пор, пока оно дает ему средства к существованию. В человеческом обществе патриотизм обнаруживался лишь у господствующих классов, трудящиеся этого чувства были лишены: «Пролетариат никогда не имел в буржуазном государстве своего отечества, так же как не имели его рабы и крепостные в государственных образованиях древности и средневековья». В переходный период к социализму пролетариат обретает свое отечество, бывшие эксплуататорские классы его утрачивают. Однако территориальные границы отечества при этом якобы ничего не значат: «Пролетариат не знает территориальных границ... он знает социальные границы. Поэтому всякая страна, совершающая социалистическую революцию, входит в СССР». Так продолжается до тех пор, пока отечеством трудящихся не станет весь мир.

Исторические традиции советского патриотизма при такой его трактовке велись в подавляющем большинстве случаев не ранее чем с 1917 года. Преемственность в истории народов таким образом разрывалась. История России представлялась чередой бунтов, восстаний, стачек и революций. Цари изображались кровопийцами, дворяне — изуверами и насильниками, купцы и промышленники — мироедами и эксплуататорами трудового народа, все духовные лица — мракобесами, пьяницами и развратниками. Никаких героев в отечественной истории при таком понимании патриотизма быть не могло. Считалось, что время героического понимания истории безвозвратно ушло. У всех героев (начиная с былинных богатырей) и творцов культуры прошлого всегда находили одни и те же изъяны: они или представляли эксплуататорские классы, или служили им. Старая Россия со всей ее многовековой историей приговаривалась революцией к смерти и забвению. В августе 1925 года в «Правде» был помещен даже оскорбительно-издевательский стихотворный «некролог» В. Александровского по поводу ее мнимой гибели. «Русь! Сгнила? Умерла? Подохла? // Что же! Вечная память тебе. // Не жила ты, а только охала // В полутемной и тесной избе».

Позднее дело дошло до того, что конференция историков-марксистов «установила» в январе 1929 года полную неприемлемость термина «русская история», из-за того, что этот старый, унаследованный от царской России термин был будто бы насыщен великодержавным шовинизмом, прикрывал и оправдывал политику колониального угнетения и насилия над нерусскими народами. Согласно Покровскому, «термин “русская история” есть контрреволюционный термин одного издания с трехцветным флагом». Утверждалось, что русские великодержавно-шовинистические историки напрасно лили слезы по поводу так называемого татарского ига. Перевод «ига» с «националистического языка на язык материалистического понимания истории» превращало его в рядовое событие феодальной эпохи. Устанавливалось далее, что, начиная с XVI века царская Россия «все более и более превращается в тюрьму народов», освобождение из которой свершилось в 1917 году. Термин «великорусская народность» академик Покровский в своих работах заключал в кавычки, подчеркивая тем самым, что народности как таковой давно уже не было. В данном случае это была, видимо, попытка перевода националистического термина на язык безнационального будущего.

Историки школы Покровского упраздняли определение «отечественная» из названия войны 1812 года. «Отечественная» война, писала М. В. Нечкина в начале 30-х годов, это «русское националистическое название войны». В переводе с «националистического» в данном случае оказывалось, что никакого нашествия Наполеона на Россию не было — «войну затеяли русские помещики». Поражение французской армии объявлялось случайностью, и с сожалением отмечалось, что «грандиозность задуманного Наполеоном плана превосходила возможности того времени». Никакого подъема патриотического духа в России, естественно, не обнаруживалось, просто «вооруженные чем попало крестьяне» защищали от французов свое имущество. Победа в войне, по Нечкиной, «явилась началом жесточайшей всеевропейской реакции». К этому оставалось разве что добавить мнение «прогрессивного» буржуазного автора К. А. Военского о том, что «эта война как бы включала Россию в единый поток европейской жизни. Победа же над Наполеоном принесла лишь задержку естественного падения крепостного права, за которое боролись передовые русские круги». При таком изображении русской истории герои «грозы 12-го года» (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, атаман М. И. Платов), как и подлинные патриоты — участники других войн (генерал М. Д. Скобелев, адмирал П. С. Нахимов), не должны были заслуживать у «настоящих советских патриотов» доброй памяти. Ну а о гордости за принадлежность вместе с ними к одной и той же нации не могло быть и речи. Из «двух наций в одной нации» эти герои принадлежали как раз к той, которая подлежала уничтожению и забвению.

Для достижения этой цели в 20-е годы и в начале 30-х было, к сожалению, сделано немало. В фундамент для компрессоров превращены могилы героев Куликовской битвы Александра Пересвета и Родиона Осляби. Останки организатора и героя национально-освободительной борьбы русского народа Кузьмы Минина взорваны вместе с храмом в нижегородском кремле, а на том месте сооружено здание обкома партии. Мрамор надгробия с места захоронения другого народного героя, князя Дмитрия Пожарского в Спасо-Ефимиевом монастыре в Суздале пошел на фонтан одной из дач. Сам этот монастырь, как и многие другие, был превращен вначале в тюрьму, потом в колонию для малолетних преступников. Поэт Иван Молчанов радостно оповещал читателей: «Устои твои // Оказались шаткими, // Святая Москва // Сорока-сороков! // Ивану кремлевскому // Дали по шапке мы, // А пушку используем для тракторов!» И это были не только слова. 25 апреля 1932 года в Наркомпросе постановили передать «Металлому» памятник Н. Н. Раевскому на Бородинском поле ввиду того, что он «не имеет историко-художественного значения». В Ленинграде была перелита на металл Колонна Славы, сложенная из 140 стволов трофейных пушек, установленная в честь победы под Плевной в русско-турецкой войне. Стену монастыря, возведенного на Бородинском поле на месте гибели героя Отечественной войны 1812 года генерал-майора А. А. Тучкова «украшала» (т.е. оскверняла) огромных размеров надпись: «Довольно хранить остатки рабского прошлого».

Колоссальный ущерб памятникам архитектуры был нанесен в результате антирелигиозного призыва: «Сметем с советских площадей очаги религиозной заразы». Одним из первых разрушенных памятников культовой архитектуры была часовня Александра Невского, построенная в центре Москвы в 1883 году в память воинов, погибших в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. К концу открытой войны пролетарского государства с Православной церковью в России из 80 тысяч православных храмов сохранились лишь 19 тысяч. Из них 13 тысяч были заняты промышленными предприятиями, служили складскими помещениями. В остальных размещались различные учреждения, в основном клубы. Только в 3000 из них сохранилось культовое оборудование, и лишь в 700 велась служба. В Московском Кремле разрушили мужской Чудов и стоявший рядом женский Вознесенский монастыри. Был взорван Храм Христа Спасителя, построенный в Москве в 1837—1883 годах как храм-памятник, посвященный Отечественной войне 1812 года. Не щадились и светские постройки. Были снесены такие шедевры русской архитектуры, как Сухарева башня, «сестра Ивана Великого», Красные ворота, стены и башни Китай-города. В 1936 году была разобрана Триумфальная арка на площади Тверской заставы в Москве, сооруженная в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Защитников шедевров нередко называли классовыми врагами. Академику А. В. Щусеву, обратившемуся к руководству Москвы с письмом о нецелесообразности сноса памятников, был дан публичный ответ: «Москва не музей старины, не город туристов, не Венеция и не Помпея. Москва не кладбище былой цивилизации, а колыбель подрастающей новой пролетарской культуры, основанной на труде и знании».

Борьба с прошлым и титанические усилия по переустройству страны и общества освящались «благой» целью — «обогнать» в историческом развитии, как писал известный журналист М. Е. Кольцов, «грязную, вонючую старуху с седыми космами, дореволюционную Россию». О России и русских в печати того периода можно было прочитать: «Россия всегда была страной классического идиотизма»; завоевание Средней Азии осуществлялось с «истинно русской подлостью»; Севастополь — «русское разбойничье гнездо на Черном море»; Крымская республика — «должное возмещение за все обиды, за долгую насильническую и колонизаторскую политику царского режима».

Ф. М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» (1879) предвосхитил некоторые из отмеченных выше «достижений» историков школы Покровского и других прогрессивных, по меркам 1920-х годов, ученых и публицистов в нескольких фразах своего литературного персонажа, которые позволяют распознавать всякие, в том числе и «ученые» разновидности смердяковщины: «Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна!»; «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с»; «Русский народ надо пороть-с...»

Бичевание старой России и «обломовщины» как родовой русской черты. Страстным обличителем старой России до конца своих дней оставался Н. И. Бухарин. Символом императорской России, по его мнению, следовало бы считать не столько официального двуглавого орла, сколько кнут и нагайку. Царствовали в России, в его изображении, не иначе как дикие помещики, «благородное» дворянство, идеологи крепостного права, бездарные генералы, сиятельные бюрократы, вороватые банкиры и биржевики, пронырливые заводчики и фабриканты, хитрые и ленивые купцы, «владыки» черной и белой церкви, патриархи и архиепископы черносотенного духовенства. Правила «династия Романовых с ее убогим главой, с ее великими князьями — казнокрадами, с ее придворными аферистами, хиромантами, гадальщиками, Распутиными; с ее иконами, крестиками, сенатами, синодами, земскими начальниками, городовыми и палачами» (Известия. 1935. 28 января). Люди труда, по Бухарину, если и выступали, то «лишь как предмет издевательства у одних, предмет жалости и филантропии — у других. Почти никогда они не были активными творцами, кующими свою собственную судьбу»; «рабочий человек, пролетарий и крестьянин-труженик был забит и загнан». Народы, присоединенные к России, делились Бухариным на два разряда — на народы, вроде грузинского, «со старинными культурными традициями, которые не сумел разрушить царизм», и народы, вроде центральноазиатских, что «были отброшены царизмом на сотни лет назад». Бухарин утверждал, что патриотом такой России мог быть и являлся только «обскурант, защитник охранки, помещичьего кнутобойства, отсталой азиатчины, царской опричнины, жандармского режима, угнетения сотен миллионов рабов». Традицией, единственно достойной демократических кругов, могла быть лишь традиция ненависти к царскому «отечеству», «квасному патриотизму», патриотичным «искариотовым», а также идея пораженчества.

Образами, с которыми у Н. И. Бухарина чаще всего ассоциировалась Россия и русские люди до 1917 года, были Обломов и обломовщина. Нельзя сказать, что Бухарин был в этом оригинален. Он в любой момент мог сослаться на Ленина, который, к примеру, в своей речи на съезде металлистов 6 марта 1922 года утверждал: «Был такой тип русской жизни — Обломов... Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий и коммунист. Достаточно посмотреть… как мы работаем… чтобы сказать, что старый Обломов остался и его надо долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел». Луначарский прочитал в мае 1928 года лекцию «Воспитание нового человека». Ссылаясь на Ленина и другие авторитеты, нарком просвещения заявил, что «обломовщина является нашей национальной чертой». Слушателям и читателям внушалось: порок этот существует у нас «потому, что мы не совсем “европейцы” и очень, очень мало “американцы”, но в значительной степени — азиаты. Это, так сказать, дань нашему евроазиатству». Российскому человеку, по словам Луначарского, предстояло пройти еще порядочную полосу времени, чтобы добрести до человека западного типа, умеющего работать «в пять-шесть раз скорее, ладнее, умнее». Нарком в очередной раз провозгласил тогда: «Мы не нуждаемся ни в каком патриотизме», ибо обрести достойное будущее возможно только в грядущей мировой организации, создающейся благодаря особым качествам пролетария, который «не чувствует себя гражданином определенной страны... является интернационалистом».

В 30-е годы Н. И. Бухарин пытался придать бичеванию обломовщины и азиатчины еще более широкое общественное звучание. Выступая на XVII съезде партии, он говорил: «Не так давно наша страна слыла страной Обломовых, страной азиатских рабских темпов труда». Годовщина Сталинградского тракторного завода и гимн, созданный Бухариным в честь машины, несущей смерть «идиотизму деревенской жизни», одновременно стали поводом лишний раз изобразить убожество дореволюционной российской деревни, которая «не многим отличалась от чисто азиатской», выступавшей у автора, видимо, неким эталоном отсталости. Варварской сохе, застойной экономике, хозяйственному оскудению, полукрепостническому строю, писал он, соответствовали рабские темпы труда, медленные ритмы жизни, низкая производительность, безграмотность и нищета, культурная убогость; весь «круговорот жизни — вялый, медленный, тупой. Работа на сохе из-под палки — на одном полюсе; ленивые, безынициативные, безвольные паразиты обломовского пошиба на другом (это в лучшем случае)». Нужны были именно большевики, писал он, чтобы «из аморфной, малосознательной массы в стране, где обломовщина была самой универсальной чертой характера, где господствовала нация Обломовых, сделать “ударную бригаду мирового пролетариата”!». Подчеркивая ограниченность кругозора русской народной массы, Бухарин представлял ее как «широкозадую бабу, которая раньше дальше своей околицы ничего не знала», обзывал историческую Россию «дурацкой страной». Последователи Бухарина и позже зачастую писали о России дореволюционной и 1920-х годов с позиций некоего сверхчеловека: тогда-де «еще доживала свой век старая крестьянская Россия», которую населяли и не люди вовсе, а всего лишь «эмбрионы», и только в результате известного «великого перелома» эти эмбрионы людей постепенно становились людьми.

После обозначившегося в середине 30-х годов противостояния Союза ССР и фашистской Германии Н. И. Бухарин не сомневался, что в результате победы над фашизмом «засияет красная звезда по всей земле», и прошлое как эпоха «цивилизованного варварства» навсегда канет в черную реку времени. 12 июня 1937 года эта идея была выражена им в подобии стихов: «Войне фашистской, зверски-черной // Навстречу будет двинут бой картечи. // Конец их ждет смертельный и позорный, // Венки победы лягут на рабочих плечи. // И черно-золотых богов затменье // В последнем историческом бою // Ознаменует человечества рожденье, // Объединенного в одну семью». Вплоть до этого момента Бухарин, видимо, считал за благо изображать прошлое своей собственной страны как можно непригляднее, надеясь, что таким образом можно легче увлечь массы на борьбу за построение мировой общины коммунизма, в которой, как он писал, общественное богатство и изобилие покроют гигантски возросшие и изменившиеся до неузнаваемости потребности, возникнет один язык и «миллиарды человечества до конца объединятся в исполинском океане общей коллективной жизни; где возросшая личность перестанет быть номером и счетной единицей и, обогащенная всей жизнью гигантского человечества, будет в состоянии развивать заложенные в ней возможности». Действительно, в свете подобным образом нарисованного и чаемого будущего и прошлое России, и патриотизм старого образца подлежали лишь охаиванию, немедленному преобразованию и забвению.

Такое видение русской истории и ее героев с предельной откровенностью воплощено Джеком Алтаузеном в его «Вступлении к поэме», опубликованной в журнале «30 дней» (1930. № 8). Сетуя, что на памятник Н. А. Некрасову «бронзу не дает Оргметалл», его собрат, проводивший в жизнь лозунг «одемьянивания» советской поэзии, проблему решал запросто: «Я предлагаю // Минина расплавить, // Пожарского. // Зачем им пьедестал? // Довольно нам // Двух лавочников славить — // Их за прилавками // Октябрь застал. // Случайно им // Мы не свернули шею. // Я знаю, это было бы под стать. // Подумаешь, // Они спасли Рассею! // А может, лучше было б не спасать?»

Революционаризм и русофобия. Вряд ли стоит усматривать в «шедевре» Алтаузена и подобных ему особый умысел, только лишь злобную русофобию и намерение лишний раз вылить ушат помоев на отечественную историю. Чаще всего они порождались самой атмосферой нетерпения, ожидания мировой революции и сопутствующим ультраинтернационализмом, сохранявшимся в определенных кругах советского общества еще очень и очень долго и после 1929 года. В этой связи процитированные строчки комсомольского поэта, погибшего на фронте в 1942 году, представляются нам столь же искренними, как и те, что вылились из-под пера поэта Павла Когана (погиб на войне в том же году), и которые в определенном отношении вполне можно рассматривать в качестве продолжения только что процитированных: «Но мы еще дойдем до Ганга, // Но мы еще умрем в боях, // Чтоб от Японии до Англии // Сияла Родина моя».

Очевидно, застарелым революционаризмом было продиктовано воздыхание Петра Шахова — главного героя нашумевшей довоенной киноэпопеи Ф. М. Эрмлера «Великий гражданин», вышедшей на экраны в 1938 году. Прототипом этого героя является сам С. М. Киров. В фильме есть эпизод совещания ударников, на котором Шахов произносит речь: «Эх, лет через двадцать, после хорошей войны, выйти да взглянуть на Советский Союз — республик этак из тридцати-сорока. Черт его знает, как хорошо!».

Многие реальные и влиятельнейшие герои политического театра предвоенных лет не только сохраняли, но и открыто демонстрировали свою глубокую веру в грядущее торжество мировой революции. К примеру, Н. И. Бирюков, член Военного Совета 2-й отдельной Краснознаменной армии, говорил с трибуны ХVIII партийного съезда: «И пусть не удивляются империалистические хищники на Востоке и Западе, если в час решительных боев с загнивающим капитализмом наши силы, силы пролетарской революции, вооруженные силы Советского Союза, на Востоке и Западе — везде будут встречены как силы освобождения человечества от капиталистического рабства и фашистского мракобесия. Тылы капиталистических армий будут гореть. Сотни тысяч и миллионы трудящихся поднимутся против своих поработителей. Капиталистический мир беременен социалистической революцией». Л. З. Мехлис на том же съезде разъяснял, что задачу, поставленную Сталиным на случай войны, надо понимать так: «Перенести военные действия на территорию противника, выполнить свои интернациональные обязанности и умножить число советских республик». М. И. Калинин подчеркивал, что «мы, большевики, народ скромный, не захватнический. Но все-таки мы думаем своими идеями завоевать весь мир и даже… раздвинуть вселенную» (Известия. 1939. 10 июня). Все это вполне согласовывалось с резолюцией ХVII съезда партии, в которой утверждалось: «Выполнение второй пятилетки еще больше усилит значение СССР как оплота борьбы международного пролетариата, еще выше поднимет в глазах трудящихся эксплуатируемых масс всего мира авторитет Страны Советов как опорной базы мировой пролетарской революции».

Приближение Второй мировой войны породило в СССР новый всплеск надежд на мировую революцию. Уже в 1939 году «Правда» писала о будущей войне с участием СССР как о «действительно отечественной», «самой справедливой и законной», «за освобождение человечества от фашизма», как о войне, в которой сбудется предсказание Ленина: «Из империалистической войны, из империалистического мира вырвала первую сотню миллионов людей на земле первая большевистская революция. Следующие вырвут из таких войн и из такого мира все человечество».

Воссоединение с СССР в 1940 году значительных территорий бывшей России с населением около 23 млн человек воспринималось как подтверждение ленинского пророчества. Участники заседания VII сессии Верховного Совета СССР, принимавшей в состав СССР четыре новые республики, поведали читателям «Правды» о видениях, рождаемых словами гимна «и если гром великий грянет».

Летчику-герою Г. Ф. Байдукову представлялись «бомбардировщики, разрушающие заводы, железнодорожные узлы, мосты, склады и позиции противника; штурмовики, атакующие ливнем огня колонны войск... десантные корабли, высаживающие свои дивизии в глубине расположения противника...» Недавняя война с Финляндией? — «Каждая такая война приближает нас к тому счастливому периоду, когда уже не будет этих страшных убийств среди людей». Зато «сколько еще услышит этот Кремлевский дворец новых горячих слов больших и малых народов, жаждущих света!.. Какое счастье и радость победы будут выражать взоры тех, кто примет последнюю республику в братство народов всего мира!» (Правда. 1940. 18 августа).

Еще один участник заседания, писательница Ванда Василевская, живописуя восторг по поводу того, как страна в ореоле славы, в величии мощи, в счастье мира и братства расширяет свои пределы, создает картину прямо-таки фантасмагорическую: «Дрожат устои света, почва ускользает из-под ног людей и народов. Пылают зарева, и грохот орудий сотрясает моря и материки. Словно пух на ветру, разлетаются державы и государства... Как это великолепно, как дивно прекрасно, что весь мир сотрясается в своих основах, когда гибнут могущества и падают величия, — она [Родина] растет, крепнет, шагает вперед, сияет всему миру зарей надежды» (Правда. 1940. 4 августа).

1 января 1941 года «Правда» отметила наступление нового года материалами весьма красноречивого содержания. Поэт Семен Кирсанов мечтал о том, чтобы превратить «уран, растормошенный циклотроном», в простое топливо. «А может быть, — добавлял он, — к шестнадцати гербам еще гербы прибавятся другие». Михаил Кульчицкий в своих стихах, помеченных январем этого же года, выразил не только предчувствие близкой войны и связанную с ней надежду на победу мировой революции («Уже опять к границам сизым // составы тайные идут, // и коммунизм опять так близок, // как в девятнадцатом году»), но и убежденность, что в будущем, после того как человек сшибет чугунные путы с земного шара, освободит его от цепей капитализма, — «только советская нация // будет // и только советской расы люди».

Герой рассказа Леонида Соболева, командир подводной лодки, действующей в Балтийском море, в канун нового 1941 года вдохновлял экипаж речью: «Велика наша родина, товарищи: самому земному шару нужно вращаться девять часов, чтобы вся огромная наша советская страна вступила в новый год своих побед. Будет время, когда понадобятся для этого не девять часов, а круглые сутки, потому что каждый новый год — это ступень к коммунизму, братству народов всего земного шара... И кто знает, где придется нам встречать новый год через пять, через десять лет: по какому поясу, на каком новом советском меридиане? С какой новой советской страной, с каким новым советским народом будем мы встречать новый год, если будем так же верны делу коммунизма, партии нашей и нашему Сталину».

Как известно, следующий год пришлось встречать, уступив гитлеровцам территорию шести союзных республик, но уверенность в торжестве мирового социализма была поколеблена ненадолго. В апреле 1945 года Сталин в разговоре с И. Броз Тито и М. Джиласом изложил свою изменившуюся точку зрения по сей проблеме. «В этой войне, — заметил он, — не так, как в прошлой, а кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, свою социальную систему. Иначе и быть не может». И если в результате Второй мировой войны Европа не станет целиком социалистической, то это произойдет в третьей, ждать которую придется не так уж долго. Когда кто-то из собеседников высказал мысль, что «немцы не оправятся в течение следующих пятидесяти лет», Сталин поправил: «Нет... лет через двенадцать-пятнадцать они снова будут на ногах... Через пятнадцать-двадцать лет мы оправимся, а затем — снова!»

Основу послевоенной сталинской политики составляла все та же идея расширения и углубления социалистической революции путем вовлечения в орбиту революционного движения все большего числа государств и народов. По свидетельству В. М. Молотова, Сталин рассуждал так: «Первая мировая война вывела одну страну из капиталистического рабства. Вторая мировая война создала социалистическую систему, а третья навсегда покончит с империализмом». В сущности, это была троцкистская теория «перманентной революции», растянутая во времени и осуществляемая с помощью и при активной поддержке страны «победившего социализма». Такую вот трансформацию претерпела к концу Отечественной войны вера в торжество мировой революции. Заложником этой утопичной идеи стал русский народ и Союз ССР с его неисчерпаемыми, как представлялось Сталину, человеческими и материальными ресурсами.

Прикрывая политику неуклонного расширения рамок своей социальной системы миротворческими лозунгами и указаниями на необходимость последовательно проводить в жизнь идеи пролетарского интернационализма, руководители СССР во всеуслышание провозглашали «незыблемую уверенность» в победе социализма и демократии во всем мире. Г. М. Маленков, например, в докладе о годовщине Октябрьской революции заявил 6 ноября 1949 года, что «не нам, а империалистам и агрессорам надо бояться войны». Если они развяжут третью мировую войну, то «эта война явится могилой уже не для отдельных капиталистических государств, а для всего мирового капитализма». Однако об известном с 1925 года «алгоритме» Сталина насчет того, что «ежели нападут на нашу страну, мы не будем сидеть сложа руки... мы примем все меры к тому, чтобы взнуздать революционного льва во всех странах мира», при этом не вспоминали. Главным инструментом мировой революции к этому времени представлялись не столько интернациональные усилия революционных масс, сколько вооруженные силы «отечества мирового пролетариата». В уставе Красной Армии имелся пункт, в котором говорилось, что «Красная Армия — армия мирового пролетариата, и ее цель — борьба за мировую революцию». Устремленность к социалистическому миродержавию, сохранявшаяся и в условиях победы социализма в одной стране, сформировала своеобразный эсэсэсэровский и отнюдь не русский, как порой утверждается, наступательный национализм.

Между тем что касается собственно России, то в официозной исторической науке вплоть до начала 30-х годов укреплялось основание для национального нигилизма и нигилистического прочтения ее дореволюционной истории. Русская историческая литература ХIХ века, как и русская классическая литература, подвергалась шельмованию на том основании, что была якобы насквозь великодержавна. Главным националистом изображался выдающийся русский историк В. О. Ключевский. К стоявшим на великодержавно-буржуазных националистических позициях причислялись крупнейшие дореволюционные историки — С. М. Соловьев и Б. Н. Чичерин, а из современников — В. В. Бартольд, В. И. Пичета, Ю. В. Готье, А. А. Кизеветтер, П. Г. Любомиров и другие. В зоологическом национализме обвинялись академики С. Ф. Платонов, М. К. Любавский, С. В. Бахрушин и прочие историки, осужденные по так называемому «делу Академии наук» (1929—1931).

Историки — «зоологические националисты»? «Дело Академии наук» современники называли по-разному: «дело Платонова», «монархический заговор», «дело Платонова — Тарле», «дело Платонова — Богословского», «дело четырех академиков» (Платонова — Тарле — Лихачева — Любавского). Называлось оно и «делом историков», поскольку из 150 осужденных две трети составляли историки дореволюционной школы, музееведы, архивисты, краеведы, этнографы. «Дело» знаменовало собой один из наиболее острых этапов борьбы историков-марксистов с буржуазной школой историков и одновременно — укрощение большевиками строптивой Академии наук, в составе действительных членов которой вплоть до конца 20-х годов не было ни одного коммуниста.

При подведении в 1931 году итогов этой борьбы «против явных и скрытых врагов пролетарской диктатуры и идеологии» наиболее крупные плоды (как считали сами историки-марксисты) принесла «борьба с противниками национальной политики Советской власти, с представителями великодержавного и национального шовинизма (разоблачение Яворского, буржуазных великорусских историков и прочих)», а также «разоблачение антантофильских и интервенционистских историков (Тарле, Платонова и других)». И, надо сказать, основания для этого были налицо. Объединенные усилия следователей от науки и от политической полиции привели к серии приговоров, вынесенных по «делу» русских историков. Значительная часть подследственных была осуждена на срок от 3 до 10 лет, «участники» военной секции заговора расстреляны (В. Ф. Пузинский, А. С. Путилов, заведовавший ранее Архивом АН СССР, и другие).

15 главных участников «монархического заговора», в том числе и Платонов, по постановлению коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года получили по пять лет ссылки. В относительно мягких наказаниях, по-видимому, сказался намечавшийся поворот в ситуации с изучением отечественной истории. Тем не менее ущерб, нанесенный «заговором» исторической науке, был огромен. В ссылке скончались С. Ф. Платонов (1933), Д. Н. Егоров (1931). С. В. Рождественский (1934), М. К. Любавский (1936). В 1936 году вскоре после возвращения из ссылки умер Н. П. Лихачев. Так или иначе, большинство представителей русской исторической мысли к началу 30-х годов были насильственно отстранены от своих занятий из-за их якобы великорусского шовинизма, а значит, и контрреволюционности. Из всех осужденных по «делу» историков к активной научной деятельности удалось вернуться немногим (А. И. Андреев, С. В. Бахрушин, Ю. В. Готье, В. И. Пичета, Б. А. Романов, Е. В. Тарле, А. И. Яковлев и другие). В Библиотеке Академии наук, Археографической комиссии крупных специалистов практически не оставалось. Из старой профессуры уцелел лишь Б. Д. Греков, которого тоже арестовывали в 1930 году.

Среди осужденных по «делу» Платонова был известный ленинградский историк и краевед Н. П. Анциферов, описавший в своих воспоминаниях «Из дум о былом» (1992) случай, расцененный в духе тех лет как преступный национализм. Профессор МГУ Бахрушин, выступая на Всероссийском краеведческом съезде в 1927 году, призывал собирать сведения и вещи о современном быте разных национальностей СССР. На его выступление живо откликнулись представители разных народов. Среди них оказался и профессор Саратовского университета С. Н. Чернов, заметивший, что при этом не следует забывать «еще одну национальность, русскую. Нужно предоставить и ей право также позаботиться о фиксировании исчезающих явлений быта, а также уходящих из употребления вещей. Почему слово “русский” почти изгнано теперь из употребления?» Это выступление вызвало резкие протесты различных националов, обвинивших Чернова в «великодержавной вылазке». Анциферов выступил в поддержку Чернова, пояснив, что «речь идет не о каком-то преимуществе для русских, а о признании прав русской национальности на любовь к своей старине, как это признано за другими нациями». Он призвал быть верным завету Владимира Соловьева: «Люби чужую национальность, как свою собственную». И этого было достаточно, чтобы усугубить вину «преступников».

Действительно, само слово «русский» в определенных кругах советского общества до начала 30-х годов зачастую ассоциировалось с понятием «великодержавный». Например, в статье, открывающей первый выпуск журнала «Советская этнография», который начал выходить в СССР с 1931 года вместо издававшегося до тех пор журнала под названием просто «Этнография», было предложено выбросить слово «русский» из названия известного ленинградского музея. Автор этой статьи — ответственный редактор журнала, известный специалист по истории народных верований и мировых религий, репрессированный в 1936 году как бывший личный секретарь Г. Е. Зиновьева, Н. М. Маторин вопрошал: «Разве один из крупнейших ленинградских музеев, в составе которого имеется богатый этнографический отдел, не носит до сих пор титул великодержавной эпохи — “Русского” музея, на что обращал внимание уже ряд национальных советских работников» (Советская этнография. 1931. № 1—2). Вплоть до середины 30-х годов оставались непривычным словосочетание «русская советская живопись». Слова «русские» избегали, заменяя его эпитетами «московские», «наши», «современные», или еще более осторожно — «художники РСФСР». Причины такой национальной «стыдливости» были порождены внушениями критиков, много лет подряд третировавших традиции русского реалистического искусства за его якобы провинциальность и реакционно-националистическую сущность.

Положение с изучением русской истории стало изменяться к лучшему лишь с избавлением от диктата школы Покровского. Это происходило уже после его смерти, последовавшей 10 апреля 1932 года. Однако еще 21 февраля 1933 года нарком А. С. Бубнов подписал специальное постановление коллегии Наркомпроса РСФСР, утверждающее в качестве стабильного учебника по русской истории для средней школы известную книгу М. Н. Покровского «Русская история в самом сжатом очерке». Эта книга, впервые опубликованная в 1920 году, была выпущена в 1932 году уже десятым основным изданием. Всего таких изданий вышло в свет более 90. По своей распространенности она до сих пор превосходит другие книги по отечественной истории. Выпускники средней школы и в 1933—1934 годах все еще должны были усваивать из учебника Покровского, к примеру, что всякий осмеливающийся оспаривать мнение о варягах как первых государях Руси, делает это не иначе, как «из соображений патриотических, т. е. националистических».

Первые признаки поворота к традиционному пониманию Родины и патриотизма. Ниспровержение школы воинствующих борцов с великорусским национализмом и противников «объективно-научной» деятельности старых историографических школ заняло значительную часть 30-х годов. Вехами на этом пути стал целый ряд партийных и правительственных решений. Постановлением ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 года история была восстановлена в правах самостоятельного учебного предмета.

Первые зримые признаки осознания руководителями социалистической России нелепости «отмены» своей дореволюционной истории проявились на рубеже 30-х годов. В год пятидесятилетия Сталина и его окончательного утверждения наверху властной пирамиды (1929) стало известно, что он проявляет особый интерес к личности и эпохе Петра Великого, находя их весьма подходящими для проведения исторических параллелей с современностью и для дополнительных (неклассовых) обоснований необходимости собственных жестких методов и стремительных темпов преобразования страны. Сталинского интереса стало достаточно для того, чтобы уже тогда исключить Петра из длинного ряда российских императоров, которым были приданы все существующие в этом мире человеческие пороки и недостатки. М. Н. Покровский, к примеру, в своем сжатом очерке русской истории поведал о Петре и его семейке кратко, но выразительно: своего сына Алексея он лично пытал, а потом велел тайно казнить, умер Петр от последствий сифилиса, заразив предварительно и свою вторую жену, скончавшуюся то ли от этой же дурной болезни, то ли от алкоголизма; сменивший ее на престоле внук Петра умер пятнадцати лет, не успев поэтому совершить ни одного преступления. Сталин же, по-видимому, полагал, что карикатурная тенденциозность — не самый лучший стиль в освещении истории. У Петра были и положительные качества, и бесспорные заслуги в деле организации России как современного государства. Его эпоха созвучна эпохе первых пятилеток. И вскоре все это советские люди могли узнать и почувствовать, знакомясь с серией талантливых историко-литературных произведений о Петре I, написанных Алексеем Толстым. Такой была одна из форм возврата советским людям дореволюционной и якобы «классово чуждой» пролетариату отечественной истории.

Попытки дискредитировать роман А. Н. Толстого, предпринятые в ходе специальной дискуссии (материалы опубликованы в журнале «Октябрь». 1934. № 7), успехом не увенчались. Историк Г. С. Фридлянд, первый декан созданного в 1934 году исторического факультета Московского университета, находил роман «Петр Первый» неприемлемым из-за гипертрофии идеи государственности, возведенной в принцип, «который мы, ведущие борьбу за отмирание государства и на путях к этому отмиранию укрепляющие государство пролетарской диктатуры, принять не можем». Известный троцкистский теоретик В. А. Ваганян обосновывал неприемлемость самого жанра исторического романа. «Если национальное прошлое, — рассуждал он, — для нас не является объектом идеализации, если национальное расщеплено на классовое — исторического романа, конечно, в прежнем смысле слова нет и не может быть». Национальная идея как таковая, по Ваганяну, это «агрессивная идея буржуазии». Соответственно, исторический роман — «проявление стремительной агрессии национальной идеи к захвату сознания наишироких масс». Исторические романы решали простую задачу — они утверждали, что «моя страна есть лучшая страна в мире, мой народ — лучший народ в мире и моя история — лучшая история в мире». Поскольку идеализация национального прошлого советскому обществу не нужна, то и исторические романы не нужны. Полезными могут быть лишь «романы на исторические темы», которые, по логике Ваганяна, должны были воспитывать неприятие этого прошлого.

В конце 1930 года ЦК партии и лично Сталин нашли нужным урезонить знаменитого пролетарского поэта Демьяна Бедного, усмотрев в его стихотворных фельетонах «Слезай с печки», «Перерва» и «Без пощады» не только «умелую и необходимую» критику недостатков жизни и быта в СССР, но и достойные осуждения ошибки. Первый из этих фельетонов был напечатан 7 сентября 1930 года в газете «Правда». Стремясь заклеймить присущие некоторой части трудящихся черты косности и разгильдяйства, поэт явно сгущал краски, временами опускался до грубости и вульгарности. Общеизвестный порок — лень — представал в фельетоне не иначе как «наследие всей дооктябрьской культуры». «Сладкий храп и слюнища возжею с губы. // Идеал русской лени. В нем столько похабства! // Кто сказал, будто “мы не рабы”? // Да у нас еще этого рабства!.. // Кто охотник поспать-похрапеть, как не раб? // Освященный всей рабскою жизнью былого, // Русский храп был в чести: не какой-либо храп — // Богатырский! Звучит похвально!» Далее поэт обобщал: «Похвальба пустозвонная // Есть черта наша русски-исконная». В фельетоне высмеивались патриоты, гордившиеся чудесами вроде царь-пушки, которая не стреляет, и царь-колокола, который не звонит: «Носом землю — убогие, темные! — рыли, // А весь свет перекрыли: // Царь-колокол! Вона! // Первый в мире! Одначе, без звона! // Пушка — первая в мире! Царь-пушка! // Одначе, пустая игрушка // Для расейского глазу: // Не стреляла ни разу! // В Кремле по священным углам // Стоял исторический хлам. // Расейская старая горе-культура — // Дура, // Федура. // Страна неоглядно-великая, // Разоренная, рабски-ленивая, дикая, // В хвосте у культурных Америк, Европ. // Гроб!» Поэт предрекал, что дело социализма будет провалено, «если не переделаем нашей гнилой, // Нашей рабской, наследственно-дряблой природы». Фельетон завершался призывом: «Чтоб ушли бедняки из кулацкой уздечки... // — Слезай, деревенщина, с печки!» Призыв был обращен к жителям деревни и к горожанам — недавним выходцам из села, которые якобы и были заражены наследственными российскими пороками в наибольшей степени.

Вскоре в «Правде» (1930. 11 сентября) появился новый фельетон Демьяна, явившийся откликом на столкновение двух пассажирских поездов на полустанке «Перерва» Московско-Курской железной дороги из-за халатности одной из бригад. Фельетон начинался со слов, что это «поэма — сверх-поэтическая // До ужаса патриотическая», но был направлен против наших якобы патриотических ценностей. Бедный объявлял причиной крушения повсеместную, возросшую исторически «на расейском болоте» родовую черту, имя которой — «недобросовестность в каждой работе». Поэту ведомо, как выпрямлять эту будто бы свойственную самой природе русского человека черту. «Добросовестность — это у немцев, // У иноземцев». Именно с них и надо брать пример. «Добросовестный спец-иностранец // Немец, американец // Иль японец... // Должен быть у рабочих в немалой чести». В противном случае участь наша незавидна: «Враги, нашей гибели ждущие гады, // Прочтут о Перерве и будут так рады... // И ждать, будут ждать: за Перервою первой, // Если дальше позорно так дело пойдет, // Наш советский-де строй сам собой пропадет, // Сокрушивши себя всесоветской Перервой!!». Опубликованные «Правдой» стихотворения Д. Бедного «прочитывались» как явно неуважительные по отношению к трудовому русскому человеку.

5 декабря 1930 года «Правда» представила своим читателям новый опус Демьяна с устрашающим названием «Без пощады». В этом фельетоне высмеивается патриотизм прошлых времен — «от Гомера и философа Платона до историка Карамзина и от историка Карамзина до вредителя Рамзина». Последнего поэт и предлагал расстрелять безо всякого снисхождения. Пролетарский поэт выражал крайнее возмущение тем, что напротив ленинского мавзолея «маячит доселе на площади Красной самый подлый, какой может быть, монумент». На постаменте, по словам Д. Бедного, «кочевряжится Минин Пожарский». Конкретнее: «Минин стоит раскорякой // Пред дворянским кривлякой, // Голоштанным воякой, // Подряжая вояку на роль палача // И — всем видом своим — оголтело крича: // “В поход, князь! На Кремль! Перед нами добыча!”». Поэт похвалил отдельных наших предков, которые, дескать, верно судили об этих «героях». Так, пишет он, «патриот, дворянин и кулак Хомяков // Выдал правду об этом в сокрушительном вздохе: // “Вся Россия была богомерзкий сосуд! // После Смуты, когда наводились «порядки», // Князь Пожарский был отдан под суд // За взятки!”». Минин, прибавляет поэт прозой со ссылкой на историка Ивана Забелина, тоже «брал посулы-взятки... мог красть и казну». Для Бедного «никакой тут особенной нет новизны. // Патриоты извечно по части казны // Неблагополучны: // Патриотизм с воровством неразлучны!» Он призывает не верить иным историкам, которые в оправдание своих героев могут только божиться: «Вот ей-богу же, Минин с Пожарским — не воры! // Вот ей-богу, не воры!» Сам Д. Бедный точно знает, «Что на краски октябрьского чудо-парада, // Ухмыляяся, бронзовым взором глядят // Исторических два казнокрада!» По мнению поэта, во имя исторической справедливости должен бы быть возведен в степень героя и поставлен рядом с Мининым «Хозя Кокос! Крымчак. И к тому же — еврей!», якобы тоже имеющий огромную заслугу в деле освобождения России. Умный Хозя был, уверяет Д. Бедный со ссылкой на Карамзина, тем, «при помощи чьей махинации // Завербован в союзники Менгли Гирей», и Русь в итоге была освобождена от татарского ига. Вообще же, переходя от шуток на серьезный тон, Д. Бедный предложил такие памятники «взрывать динамитом», а «подлецам и лжецам... патриотам, // Что любят былую Россию оплакивать, // “Величьем России” мозги обволакивать, // Надо это былое “величье” печальное, // Рогожно-мочальное, // Его гниль, червоточины все, // Показать им во всей неприглядной красе». Д. Бедный знает единственного историка, который в таком деле преуспел и которого он всячески рекомендует: «У Покровского малые школьники даже // Нынче могут об этом всю правду прочесть».

История со стихотворными фельетонами, вызвав восторг у определенной части читателей и чиновников (первые два фельетона к декабрю успели издать отдельной книгой с подзаголовком «Памятка ударнику»), имела неожиданный финал. 6 декабря 1930 года фельетоны обсудил Секретариат ЦК партии и выпустил постановление. В нем значилось: «ЦК обращает внимание редакций “Правды” и “Известий”, что за последнее время в фельетонах т. Демьяна Бедного стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании “России” и “русского” (статьи “Слезай с печки”, “Без пощады”); в объявлении “лени” и “сидения на печке” чуть ли не национальной чертой русских (“Слезай с печки”); в непонимании того, что в прошлом существовало две России, Россия революционная и Россия антиреволюционная, причем то, что правильно для последней, не может быть правильным для первой; в непонимании того, что нынешнюю Россию представляет ее господствующий класс, рабочий класс и прежде всего русский рабочий класс, самый активный и самый революционный отряд мирового рабочего класса, причем попытка огульно применить к нему эпитеты “лентяй”, “любитель сидения на печке” не может не отдавать грубой фальшью».

Демьян Бедный был обескуражен. В письме И. В. Сталину он писал, что постановление побуждает его к самоубийству: «Может быть, в самом деле нельзя быть крупным русским поэтом, не оборвав свой путь катастрофически». Ответное письмо не было утешительным. Сталин еще раз разъяснил поэту суть его ошибок. Пролетарский поэт, дескать, не должен «возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошную “Перерву”, что “лень” и стремление “сидеть на печке” является чуть ли не национальной чертой русских вообще, а значит и — русских рабочих, которые, проделав Октябрьскую революцию, конечно, не перестали быть русскими». Отметив все это, Сталин заключил: «Нет, высокочтимый т. Демьян, это не большевистская критика, а клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата», и посоветовал поэту по примеру В. И. Ленина переключиться на осознание «не по холопски понятой» национальной гордости великороссов. В непубликовавшейся до недавнего времени части этого письма Сталин, по существу, обвинял Бедного в приверженности троцкизму. «Существует, как известно, — писал он, — “новая” (совсем “новая”!) троцкистская “теория”, которая утверждает, что в Советской России реальна лишь грязь, реальна лишь “Перерва”. Видимо, эту “теорию” пытаетесь Вы теперь применить…» («Счастье литературы»: Государство и писатели. 1925—1938. Документы. М., 1997). От историка М. Н. Покровского и мэтров его школы подобных советов и оценок поступить, конечно, не могло. Они сами явно нуждались в рекомендациях такого рода. Возможно, направляя письмо Д. Бедному, Сталин рассчитывал, что и ученые-историки примут к сведению его замечания.

Что касается литературных собратьев Демьяна Бедного, то, конечно, далеко не у всех из них и отнюдь не сразу изменилось отношение к исторической России. 1931 год дает новые образчики русофобии, в частности переиздается книга Осипа Бескина «Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика», содержащая, к примеру, такие пассажи: «Она еще доживает свой век — старая, кондовая Русь с ларцами, сундуками, иконами, лампадным маслом, с ватрушками, шаньгами по “престольным” праздникам, с обязательными тараканами, с запечным медлительным, распаренным развратом, с изуверской верой, прежде всего апеллирующей к богу на предмет изничтожения большевиков, с махровым антисемитизмом, с акафистом, поминками и всем прочим антуражем. Еще живет “росеянство”, своеобразно дожившее до нашего времени славянофильство, даже этакое боевое противозападничество с верой по-прежнему, по старинке, в “особый” путь развития, в народ-“богоносец”, с погружением в “философические” глубины мистического “народного духа” и красоты “национального” фольклора. В современной поэзии наиболее сильными представителями такого “росеянства” являются: Клычков, Клюев и Орешин (Есенин — в прошлом)». Вину Сергея Клычкова литературовед увидел в том, что тот, говоря о СССР, величает нас «Советской Русью». А это — «пиетет перед патриархальной, рабовладельческой Русью», «плацдарм, с которого ведется обстрел ненавистной советской современности». Оказывается, Клычков непочтительно говорит о мировой революции (только для Главлита), для души же — о национальном. Поэт написал: «Завтра произойдет мировая революция, капиталистический мир и национальные перегородки рухнут, но... русское искусство останется, ибо не может исчезнуть то, чем мы по справедливости перед миром гордились и будем, любя революцию... гордиться!» Литературовед осуждает: «Конечно, великодержавнику Клычкову никогда не понять, не дойти до того, что Октябрьская революция — не русская революция. Ему ведь полагается забыть о ста с лишним народах, населяющих бывшую Российскую империю».

Оскорбительный выпад против исторической России и «кулацких поэтов» содержало выступление поэта А. Безыменского на VI съезде Советов СССР. «В настоящее время, — говорил он, — традицию воспевания всего того отвратительного, что создавало нищету и забитость крестьянства, продолжают кулацкие поэты типа Клюева и Клычкова». От имени пролетарских писателей он объявил «жесточайшую войну кулацким идеологам “Рассеюшки-Руси”, а успехи ее пообещал измерять «степенью ликвидации образа того врага, который заключает в себе понятие “Рассеюшка-Русь”». Выступление было закончено стихотворным приговором: «Рассеюшка-Русь! // Растреклятое слово // Трехполья // болот // и мертвеющих рек».

Л. Б. Каменев, к тому времени отставленный от большой политики, тоже нашел возможность напомнить о должном отношении к исторической России. 27 декабря 1931 года были сданы в печать «Замогильные записки» В. С. Печерина, одного из первых русских политических эмигрантов XIX века. В сочувственном предисловии к этой книге, составленном Каменевым, приведены стихи Печерина, написанные в 1834 году: «Как сладостно — отчизну ненавидеть. // И жадно ждать ее уничтоженья! // И в разрушении отчизны видеть // Всемирного денницу возрожденья!» Извиняясь за столь сильно выраженные байронические настроения, автор полагал: «Любить? — Любить умеет всякий нищий, // А ненависть — сердец могучих пища».

Ленинградский Государственный театр сатиры и комедии внес свой «вклад» в борьбу с исторической Россией. 19 декабря 1931 года здесь состоялась премьера представления «Крещение Руси», шедшего почти до апреля следующего года. В благожелательной рецензии, помещенной в журнале «Рабочий и театр» (1932. № 1) отмечается: «Спектакль имеет ряд смелых проекций в современность, что повышает политическую действенность пьесы», а именно: «Былинные богатыри выступают в роли жандармской охранки, Соловей-разбойник становится олицетворением именитого купечества, Византия перекликается с фашистским Западом. Сам князь Владимир обобщен как представитель самодержавия и не случайно поэтому к концу спектакля принимает образ предпоследнего царя-держиморды. Однако основная, не преодоленная театром, ошибка автора кроется в показе всей “православной Руси” — пришибленным, с расслабленной волевой мускулатурой, появляющимся в неукоснительно пьяном виде и произносящим путанные и непонятные слова Микулой Селяниновичем. Обобщая “культурный” византийский деспотизм до фашизма (связь истории с современностью вообще в спектакле носит отпечаток наивной механистичности), Н. Адуев (автор текста. — Авт.) не подчеркивает мракобесия деспотов, и в сопоставлении с былинной дикостью расейского князя византийцы выглядят как... светочи культуры». Рецензенты тем не менее нашли возможным пожурить спектакль за «явно недостаточную, социальную, в частности антирелигиозную нагрузку».

Между тем на политико-идеологическом поприще утверждалась тенденция противоположного свойства.

Сталин, февраль 1931-го: «Теперь у нас есть Отечество». В выступлении на Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 года Сталин заложил краеугольный камень в основание нового идеологического курса. Слову «отечество», использовавшемуся ранее чаще всего как синоним дореволюционной России, было придано новое звучание. Теперь оно прочно связывалось с понятием «наша страна». «В прошлом, — говорил Сталин, — у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, — у нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость», и если не хотеть, чтобы наше отечество было побито и утеряло независимость, нужно в «кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства». Новое представление о «социалистическом отечестве» потребовалось для того, чтобы сузить его неопределенные пролетарско-мировые очертания (в представлениях первых лет революции) до реальных границ СССР. Новое понимание отечества позволяло «реабилитировать» патриотизм в его нормальном и привычном для широких масс виде, начать его культивирование как высшей доблести советских людей. Предстояло, как предлагал М. И. Калинин, «все население пропитать советским патриотизмом, чтобы каждый гражданин Советской республики, если даже он самый обыкновенный обыватель, встретившись с гражданином капиталистической страны, всегда чувствовал внутренне превосходство: я — гражданин Советской республики». Теперь такая установка была дана самим Сталиным.

Заявка на русское первенство в международном пролетарском движении. Особенно большую значимость имело письмо И. В. Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» «О некоторых вопросах истории большевизма», опубликованное в конце октября 1931 года. Русские большевики представали в письме в качестве некоего эталона для коммунистов других стран: именно они «выдвигали на первый план коренные вопросы русской революции»; именно их интернационализм «является образцом пролетарского интернационализма для рабочих всех стран». В письме утверждалось также, что русский пролетариат является авангардом международного пролетариата, последовательный и до конца революционный интернационализм большевиков является образцом пролетарского интернационализма для рабочих всех стран. Согласно этому не западные марксисты должны давать уроки своим русским товарищам, а наоборот. В статье подчеркивалось, что у «русских большевиков» есть все основания оценивать степень марксистской революционности зарубежных социал-демократов. Несогласие с подобного рода русоцентризмом означало, по определению Сталина, «троцкистскую контрабанду».

Вместе с письмом Демьяну Бедному письмо в журнал «Пролетарская революция» заставляло призадуматься многих представителей тогдашней литературной и политической элиты, иных — проявлять большую сдержанность в оценках дореволюционного и современного Отечества. В. И. Пятницкий, к примеру, вспоминает, что его мать любила громко читать четверостишие русского поэта Д. В. Веневитинова (1805—1827): «Грязь, вонь, клопы и тараканы, // И надо всем хозяйский кнут, // И это русские болваны // Святым отечеством зовут». Сын полагает, что в этом выражалось резко критическое отношение человека начала тридцатых годов «к окружающей советской действительности». И. А. Пятницкий, отец мемуариста, бесстрашный большевик, обвиненный позднее в троцкизме, видимо, так не считал и опасливо говорил жене: «Тише, Юля, тише».

Письмо Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма», начавшаяся критика лозунга «одемьянивания» пролетарской поэзии (выдвинут в 1923 г.), под которым велось «огульное охаивание всего прошлого в русском народе» (Правда. 1931. 24 ноября), расшатывали представления о советских коммунистах как принципиальных западниках. А ведь еще совсем недавно Луначарский разъяснял в популярном журнале, что не только социал-демократы и их предшественники «всегда были западниками», но и «наш коммунизм является отпрыском Запада… наш пролетариат, совершивший такую героическую революцию, есть неотъемлемая часть всемирного пролетариата». На этом основании предлагалось с самой жестокой решительностью опровергнуть «всю эту ерунду», будто коммунизм выражает «какую-то особенную, чисто русскую сущность» (Огонек. 1929. № 5).

Приход Гитлера к власти в Германии и закрепление поворота к патриотизму в СССР. Окончательному закреплению поворота к признанию великой роли отечественной истории и патриотических чувств в сплочении советского общества способствовали известные события в Германии. 30 января 1933 года А. Гитлер стал рейхсканцлером, а в августе следующего года, после смерти президента П. Гинденбурга, сосредоточил в своих руках всю законодательную и исполнительную власть в качестве «фюрера и рейхсканцлера». Произошло это в стране, на революционность и интернационализм пролетариата которой российские большевики возлагали особые надежды, видя в классе-собрате явного лидера в грядущем социалистическом переустройстве мира. И вот эту-то страну, с ее просвещенным населением и мощным, как казалось, рабочим классом Гитлеру удалось завоевать с помощью национальных лозунгов и знамен. Развертывая борьбу против нацизма, профессиональные интернационалисты в СССР поначалу не верили в долговременность успеха гитлеровцев, полагая, что они вот-вот «начнут терять свою кратковременную устойчивость», поскольку национализм, «последняя твердыня отживающего капиталистического мира», в их представлении, никак не могла быть прочной.

Редактор советского журнала «Революция и национальности» С. М. Диманштейн говорил в этой связи: «Правительство Гитлера так прямо себя именует: “правительство национального возрождения”, а тех, кто выступает против этого правительства, они клеймят контрреволюционерами, считая себя совершающими национальную революцию». Гитлер, однако, явно преуспевал. Сознание исходящей из этого опасности не могло не наталкивать идеологов в СССР также и на мысль о том, что национальный фактор, пожалуй, не слабее интернационального, списывать его со счетов не следует, а подавлять и не использовать — неумно.

Развитие германских событий, без сомнения, ускорило эволюцию сталинского режима в национал-большевистском направлении, все более отклонявшемся от курса на мировую революцию. 19 декабря 1933 года Политбюро ЦК ВКП(б) заявило о готовности СССР вступить в Лигу наций и заключить в ее рамках региональное соглашение «о взаимной защите от агрессии со стороны Германии». 18 сентября 1934 года. СССР был принят в эту международную организацию. Вскоре после этого Сталин начал говорить и вовсе неожиданное. К примеру, американский журналист, спросивший Сталина, правильно ли он понимает, что СССР «в какой-либо мере оставил свои планы и намерения произвести мировую революцию», получил ответ: «Таких планов и намерений у нас никогда не было» (Правда. 1936. 5 марта). Смертные приговоры в 1936 и 1938 годах недавним руководителям Коминтерна Г. Е. Зиновьеву и Н. И. Бухарину должны были, помимо всего прочего, создавать впечатление о действительности намерений руководства СССР отказаться от непосредственного курса на мировую революцию.

Дальнейшему отходу от левацкого интернационализма способствовали решения VII конгресса Коминтерна. Более чем за год до конгресса, 7 апреля 1934 года Г. Димитров в разговоре с членами Политбюро ЦК ВКП(б) поставил вопрос: почему в решительный момент миллионные массы идут не с коммунистами, а, скажем, как в Германии, с национал-социалистами? Поиски ответов на этот вопрос привели к принципиальному выводу: причина кроется в неправильном подходе к национальной психологии народных масс и национальным традициям, к которым коммунисты проявляли явное пренебрежение. Ранее в документах Коминтерна о патриотизме говорилось обычно в критическом смысле, нередко это понятие отождествлялось с шовинизмом.

По предложению Сталина Димитров был избран генеральным секретарем Исполкома Коминтерна. Новое руководство Коммунистического Интернационала вместе с Политбюро ЦК ВКП(б) начало возвращать международную организацию, как впоследствии стало говориться, «к марксистско-ленинским взглядам на отечество, патриотизм и идеям, оказавшимся забытыми или искаженными в практике революционной борьбы предшествующих лет», не допуская какого-либо нигилизма по отношению к национальной проблематике своей страны. «Мы, коммунисты, — подчеркивал Димитров на VII Всемирном конгрессе Коминтерна 2 августа 1935 года, — непримиримые принципиальные противники буржуазного национализма во всех его разновидностях. Но мы не сторонники национального нигилизма и никогда не должны выступать в качестве таковых». Поворот казался столь крутым, что многим пораженным левизной коминтерновцам поначалу казалось: «Москва ликвидирует пролетарский интернационализм и начинает культивировать в рабочих массах преувеличенный патриотический национализм».

Исправление левацких ошибок в отношении к патриотизму и национальной психологии народа в самом СССР началось со снятия проклятия с «великорусского национализма». Партийное постановление 1921 года решало этот вопрос однозначно: из двух возможных уклонов в национальном вопросе главную опасность представляет великорусский национализм. Презумпция была снята на XVII съезде партии, который предписал всем парторганизациям руководствоваться «положениями и задачами, выдвинутыми в докладе т. Сталина» от 26 января 1934 года. В докладе значилось, что «главную опасность представляет тот уклон, против которого перестали бороться и которому дали, таким образом, разрастись до государственной опасности». Как показали дальнейшие события, репрессии в последующем чаще всего сопрягались с обвинениями в местном национализме.

Арьергардные бои с «русским национализмом»: «Дело славистов». Избавление от догматизма, признание значимости национального фактора и патриотизма Коминтерном и правящей элитой СССР не могли свершиться в одночасье, требовали целого ряда лет, если не десятилетий. Наряду с начавшимся поворотом в реальной жизни страны начала 30-х годов уживались тенденции прямо противоположной направленности. Официально признанной главной опасностью для большевистской власти оставался в то время «великорусский национализм», искоренение его возможных носителей нанесло неисчислимый ущерб русскому народу, его интеллигенции. Особая роль в нейтрализации национализма отводилась карательным органам. Так, в конце 1933 — начале 1934 года в Москве, Ленинграде и ряде других городов «славными чекистами» были арестованы «члены широко разветвленной фашистской организации», именующейся «Российской национальной партией». В общей сложности ими оказались (с учетом параллельных дел на периферии) более ста интеллигентов-гуманитариев, значительную часть которых составляли русисты и слависты-филологи — специалисты по истории древнеславянской письменности, славянскому фольклору, сравнительной грамматике и истории славянских языков.

На этот раз события развертывались следующим образом. В декабре 1933 года один из обвиняемых в участии в «эсеровской организации» дал показания против выдающегося ученого, члена-корреспондента АН СССР Н. Н. Дурново и его сына, также слависта, А. Н. Дурново, назвав их участниками «националистической организации, ведущей активную антисоветскую работу». 28 декабря они были арестованы. За ними через несколько дней последовали невеста А. Н. Дурново Варвара Трубецкая и ее отец В. С. Трубецкой (брат Н. С. Трубецкого). Затем в январе и феврале 1934 года арестовали еще ряд славистов и русистов, связанных тем или иным образом с семьей Дурново: Г. А. Ильинского, А. М. Селищева, В. В. Виноградова, В. Ф. Ржигу, И. Г. Голанова, П. А. Расторгуева, В. Н. Сидорова, Ю. М. Соколова, А. И. Павловича, Н. И. Кравцова и других. По ходу следствия к ним подключались новые московские и ленинградские интеллигенты. Среди них были искусствовед, директор Русского музея Н. П. Сычев и известный реставратор П. Д. Барановский, решительно протестовавший против планируемого уничтожения храма Василия Блаженного и демонстративно отказавшийся от подготовки памятника к сносу. 29 марта 1934 года все они (33 человека) были осуждены как члены «контрреволюционной фашистской организации».

В московских и ленинградских следственных делах был собран обильный «компромат» на новых «руководителей и членов организации». Среди них значились крупнейшие ученые страны — академики В. И. Вернадский, М. С. Грушевский, Н. С. Державин, Н. Д. Зелинский, В. М. Истрин, Н. С. Курнаков, Б. М. Ляпунов, В. Н. Перетц, М. Н. Сперанский. Вопрос об аресте академиков решался на самом высоком уровне, и там сочли нужным ограничиться лишь двумя учеными-славистами старой школы, сохранявшими независимость взглядов, — М. Н. Сперанским и В. Н. Перетцем. Последний был объявлен националистом и русским и украинским одновременно. Обоих арестовали в ночь на 12 апреля 1934 года. Историк М. С. Грушевский, очевидно, избежал ареста лишь в связи с кончиной (25 ноября 1934 г.), поскольку посмертно его объявили главой «контрреволюционного центра», но уже не российского, а украинского. Слависты оказались в особо невыгодном положении еще из-за того, что в то время шла борьба с «панславизмом», отношения со славянскими странами «санитарного кордона» были крайне напряженными и даже общее происхождение славянских языков и народов было «опровергнуто» академиком Н. Я. Марром, «доказавшим», что русский язык «оказался по пластам некоторых стадий более близок к грузинскому, чем... к любому индоевропейскому, хотя бы славянскому».

Первоначально обвинения арестованным сводились к следующему. На рубеже 20-х и 30-х годов в Москве под руководством академика М. Н. Сперанского группа славистов якобы начала готовить свержение советской власти и восстановление монархии. Среди арестованных были лица только со славянскими фамилиями. «Инородцев» в связях с монархистами не подозревали. В своих действиях группа Сперанского руководствовалась-де указаниями «закордонного русского фашистского центра, объединяющего эмигрантские группы и возглавляемого князем Н. С. Трубецким». Имелись в виду, конечно же, евразийцы. Обнаруженное во время ареста у одного из обвиняемых собрание статей Н. С. Трубецкого «К проблеме русского самопознания» (Париж, 1927) расценивалось как «платформа русского фашизма». Координация действий московского и венского центров была инкриминирована члену-корреспонденту АН СССР Н. Н. Дурново, который в середине 20-х годов находился в заграничной командировке, его сын к тому же стал родственником князей Трубецких.

Однако М. Н. Сперанский, по ходатайству младшего брата Г. Н. Сперанского (в те годы — директора Института охраны материнства и детства и, что важнее всего, главного кремлевского педиатра, лечившего детей членов Политбюро), был вскоре вызволен из тюрьмы и содержался до суда дома. Может быть, и в этой связи с апреля 1934 года следствие приняло «уточненное» направление: славянская филология — реакционная наука, которая получила широкое распространение в фашистской Германии; читая лекции в университете, обвиняемые толкали молодежь в объятия религии; публикуя книги и статьи в буржуазных странах, они наносили большой вред нашей идеологии. Такие же обвинения содержал и «научный доклад», оглашенный в Ленинграде в Институте языка и мышления в конце 1934 года. Славянская филология, утверждалось в нем, «была всегда наукой заведомо и насквозь пронизанной зоологическим национализмом», а в настоящее время в качестве своей теоретической базы имеет «идеализм фашистского толка». Из сказанного видно, что все относившееся к собственно русскому и славянскому вопросам, вплоть до середины 30-х годов, маркировалось в СССР как фашизм. Из осужденных по делу «Российской национальной партии» одиннадцать были расстреляны в местах заключения в 1937—1938 годы, в том числе Н. Н. и А. Н. Дурново, Г. А. Ильинский, В. С. и В. В. Трубецкие. Лишенные академических званий и приговоренные к ссылке академики прожили недолго. В. Н. Перетц скончался в сентябре 1934 года, М. Н. Сперанский — в апреле 1938-го. Результатом «очищения» славяноведения от «фашистов» стало прекращение исследований по славистике и преподавания славяноведческих дисциплин. Подготовка славяноведов была возобновлена в Москве лишь в 1939-м на историческом и в 1943 году — на филологическом факультетах МГУ.

Война заставила изменить отношение и к славянофилам. Вплоть до начала Второй мировой войны они чаще всего изображались советскими историками как группа «националистически настроенной буржуазии», требовавшая объединения славян под русским царем. На приеме правительственной делегации Чехословакии во главе с Э. Бенешом, И. В. Сталин, открестившись от родства со «старыми славянофилами», тем не менее заявил: «Мы, новые славянофилы-ленинцы, славянофилы-большевики, коммунисты, стоим не за объединение, а за союз славянских народов… Вся история жизни славян учит, что этот союз нам необходим для защиты славянства». Надо, однако, принимать во внимание время, когда стали возможны такие речи. На дворе стоял март 1945 года.

Возвращаясь от этой даты в довоенное советское прошлое, мы снова оказываемся в обстановке преследований режимом носителей национально-патриотических идей и борьбы за преодоление культурного наследия русского народа. Видимо, одно из первых судилищ над русскими патриотами, объявленных фашистами, состоялось за десять лет до «дела Российской национальной партии». 1 ноября 1924 года в Москве был арестован писатель Алексей Ганин. При аресте у него были изъяты тезисы, называвшиеся «Мир и свободный труд — народам». На допросах писатель уверял, что тезисы подготовлены для романа, над которым он начал работать. Поскольку в этом «документе» русские люди призывались на борьбу с интернационально-коммунистическим режимом во имя спасения национальной России, то ссылки на роман писателя не спасли. Мировоззрение Ганина было квалифицировано как фашистское. Чекисты арестовали еще 12 человек — начинающих поэтов и журналистов, вчерашних крестьян, мелких служащих, группировавшихся вокруг А. Ганина и разделявших патриотические убеждения. В ЧК эта группа получила название «орден русских фашистов». Главу «ордена» с шестью товарищами расстреляли 30 марта 1925 года. Остальные семеро пошли на Соловки, откуда вернулось лишь двое.

Свой «вклад» в борьбу с культурным наследием народов России во имя грядущей «светлой жизни» вносили в 20—30-е годы борцы с традициями прошлого в литературе и культуре. С вульгарно-классовой точки зрения традиции эти расценивались не иначе как феодально-помещичьи и буржуазные. Образчиком такого понимания дореволюционной культуры и ее творцов может служить выступление Вс. Вишневского на одной из армейских партконференций в июле 1921 года. «Старая культура, — внушал он красноармейцам, — была фактически насквозь пропитана буржуазным духом». И пояснил это на конкретных примерах. Взять Пушкина. Он был камер-юнкером его величества царя и гордился своим дворянством. Не признавал никаких революций — следовательно, был контрреволюционером. Лермонтов был аристократом в полном смысле этого слова. Некрасов — из помещиков. Лев Толстой — граф. Писать-то он писал хорошо, но народ в «Войне и мире» является лишь фоном, а главное разыгрывается между немногими аристократами, для которых слово «мужик» было бранным, почти неприличным. Чехов — происхождением из мещан и, безусловно, также один из последних представителей упадочничества. Его герои бесятся от жира в провинции, скучают от безделья, ноют без конца. Кольцов считался народным поэтом, но на самом деле это типичный представитель кулачества. Горький, правда, в значительной степени близок к народу, но и у него встречается немало высказываний далеко не пролетарской идеологии. В музыке — то же самое. Глинка — помещик; достаточно сказать, что у его отца был собственный оркестр из крепостных. Римский-Корсаков — придворный капельмейстер, писал лженародные оперы, непонятные крестьянину. Музыка Чайковского — яркий образец безысходного упадочничества и пессимизма, чуждого рабочему классу. Все эти симфонии, сонаты, балеты совершенно непонятные народу. Что касается балерин, певиц в опере, оперетте, то все или почти все они фактически работали в роли привилегированных проституток и зарабатывали неплохо. Трамплином же у них, конечно, была кровать дирижера или какого-нибудь князя (Литературная Россия. 1995. 7 июля).

Естественно, таким образом представленная культура и традиции не заслуживали ничего другого как быть сломанными и отброшенными с тем, чтобы дать простор развитию социалистического содержания интернациональной культуры. Например, Н. И. Бухарин не только думал, что «“завоевать” буржуазную культуру целиком, не разрушая ее, так же невозможно, как “завоевать” буржуазное государство», но и требовал: «старый театр надо сломать, и кто не понимает этого, тот ничего не понимает». Любителей ломать оказалось предостаточно. Не последним среди них был Вс. Мейерхольд с его девизом «К искусству всего земного шара, к отречению от России». Как отмечали театроведы, в своих спектаклях он стремился показать русскую жизнь в самом «пошлом безобразии».

С этой же точки зрения роман Льва Толстого «Война и мир» представлялся не более чем попыткой «реабилитировать дворянство», Чайковский объявлялся «квасным патриотом», Горький — «псаломщиком русской культуры». А. В. Луначарский в 1924 году заявил, что если Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого и признавать великими, то только с условием, что они-де велики «вопреки этой проклятой старой России, и все, что в них есть пошлого, ложного, недоделанного, слабого, все это дала им она». О великом Репине писали, что он как «свой» (для дореволюционного режима) художник «умел скрывать объективную классовую сущность буржуазии»; Сурикова объявляли защитником «реакционно-монархического национализма, опиравшегося на кулачество». Смысл подобных писаний, как отмечалось после известного отрезвления середины 30-х годов, «сводился к тому, чтобы, прикрываясь “борьбой” против великодержавного шовинизма, под шумок объявить целиком всю русскую культуру и искусство помещичье-буржуазным, реакционно-националистическим» (Правда. 1937. 13 августа).

Особенно впечатляющим был изобретенный литературоведом В. Б. Шкловским способ использования произведений классиков русской культуры не во вред, а к благу советских людей. Он полагал, что «Капитанская дочка», «Герой нашего времени», «Бесы» — «все это запас неправильных фактов». Опровергать их в предисловиях — занятие непосильное: «Дать написать Машбиц-Верову предисловие к Александру Блоку — это значит выписать мухе путевку на право управления паровозом». Однако задачу решать надо, ибо «каждая эпоха имеет право переделывать предыдущую», а уж советская тем более. Поэтому, предлагает Шкловский, «с Толстым, Пушкиным, Лермонтовым и Достоевским нужно бороться по линии изменения сведений, которые они сообщают». К примеру, в кино, которое обладает огромной силой внушения, мы должны «создавать вещи, параллельные произведениям классиков… вдвинуть в сознание не ложь, а новый материал. Кинокартина будет существовать рядом с литературным произведением, пользуясь его материалом и в то же время вытесняя его. Иначе и быть не может. Гражданский мир — удел кладбища» (Советский экран. 1927. № 33). Как здесь не вспомнить исторический отдел министерства правды, созданный воображением Джорджа Оруэлла, в полной мере реализовавшего идею В. Б. Шкловского.

В резолюции Первой Всесоюзной конференции пролетарских писателей (январь 1925 г.) «контрреволюционным» объявлялось не только все прошлое литературы. Контрреволюционерами считались и «попутчики» — непролетарские писатели, в том числе и стоявшие на платформе советской власти, но якобы застывшие перед «гранитным монументом буржуазно-дворянской литературы», «проникнутые духом национализма, великодержавности, мистицизма». «Монумент» предстояло разрушить до основания. Как это делать? — Недостатка в советах не было. «Во имя нашего Завтра, — призывал еще в 1918 году. Владимир Кириллов в своем знаменитом стихотворении «Мы», — сожжем Рафаэля, // Разрушим музеи, растопчем искусства цветы». Газета «Искусство коммуны», издававшаяся в Петрограде, утверждала: «Следует больше жалеть о сошедшем с нарезки винте, чем о разрушении храма Василия Блаженного»; «Разрушать это и значит создавать, ибо разрушая, мы преодолеваем свое прошлое»; «Мы прекрасны в неуклонной измене своему прошлому». Владимир Маяковский в стихах с мрачным названием «Радоваться рано» (1918) и выговаривал за нерадивость, и наставлял одновременно, намечая разнообразнейшие цели для уничтожения: «Белогвардейца // найдете — и к стенке. // А Рафаэля забыли? // Забыли Растрелли Вы? // Время // пулям // по стенкам музеев тренькать». «А царь Александр // на площади Восстаний // стоит? // Туда динамиты! // Выстроили пушки по опушке... // А почему // не атакован Пушкин?» У поэта были и соображения о том, как решать международные и межнациональные проблемы. Так, на Генуэзскую конференциею (1922) Маяковский советовал ехать, «осматривая хозяйскими глазами грядущую Мировую Федерацию Советов», в исторической перспективе — «в мире без Россий, без Латвий, жить единым человечьим общежитьем».

Маяковский, постигавший законы истории не иначе как по трудам главных «пролетариатоводцев» планеты, не затруднялся и с ответом на вопрос о характере общности, появляющейся в СССР после 1917 года. В социалистическом отечестве, полагал он, трудясь над поэмой «Хорошо» (1927), и нация соответствующая — социалистическая. И никаких других. «Разнедоуменные» вопросы на этот счет, дескать, «что это за нация такая “социалистичья”, // и что это за “социалистическое отечество”? ...Такого отечества, такой дым// Разве уж настолько приятен?...У вас и имя Россия утеряно. Что это за отечество у забывших об нации? // Какая нация у вас? Коминтерина?», — могли, по Маяковскому, возникать лишь у «национальных трутней» старой формации — у богатых, буржуев и прочих врагов социалистической республики. Таким втолковать новое понимание отечества и нации способны лишь «лубянская лапа Че-ка» да «товарищ Маузер».

Посрамление революционно-утопических идей в языковом строительстве. На свой манер утверждали интернационализм в противовес «национальной ограниченности» и «великорусскому шовинизму» революционеры от языковедения. «Новое учение о языке», сформулированное академиком Н. Я. Марром в 1923—1924 годах, было провозглашено «единственно правильным» и «марксистским». Доклад Марра, прозвучавший на знаменитой конференции историков-марксистов (декабрь 1928 — январь 1929), М. Н. Покровский назвал великолепным и якобы доказывающим, «что к нашим, материалистическим выводам можно прийти не только от изучения классовой борьбы... но и от изучения истории человеческой речи».

Вопреки обычным лингвистическим представлениям о постепенном распаде единого праязыка на отдельные, но генетически родственные языки, «новое учение» утверждало прямо противоположное, а именно, что языки возникали независимо друг от друга. Марр полагал, что первичная звуковая речь состояла всего из четырех элементов — сал, бер, йон, рош. Считалось, что эти элементы («диффузные выкрики», как говорил наиболее влиятельный последователь Марра академик И. И. Мещанинов) возникли вместе с другими искусствами в эволюции трудового процесса, представлявшего собой магию, и долгое время не имели никакого словарного значения. Элементы (чаще всего в модифицированном виде) без труда обнаруживались в каждом из слов любого языка. В своем развитии языки, по Марру, претерпевали процессы скрещивания, в результате взаимодействия два языка превращались в новый третий язык, который в равной степени являлся потомком обоих языков.

Теории Марра были созвучны представлениям 20-х годов о близкой мировой революции и надеждам многих еще успеть поговорить с пролетариями всех континентов на мировом языке. Подобно тому, писал Марр, «как человечество от кустарных разобщенных хозяйств и форм общественности идет к одному общему мировому хозяйству... так и язык от первоначального многообразия гигантскими шагами продвигается к единому мировому языку». В Советском Союзе Марр видел не только создание новых национальных языков, но и то, как в результате их скрещивания (взаимопроникновения) развивается процесс «снятия множества национальных языков единством языка и мышления».

С момента основания в 1921 году Яфетического института (с 1931 г. Институт языка и мышления) его планы предусматривали разработку проблем языка будущего. В феврале 1926 года была намечена к учреждению группа по прикладной лингвистике, которая имела задание установить теоретические нормы будущего общечеловеческого языка. Один из основных тезисов «нового учения о языке» Марра гласил, что «будущий всемирный язык будет языком новой системы, особой, доселе не существовавшей, как будущее хозяйство... будущая внеклассовая общественность и будущая внеклассовая культура. Таким языком, естественно, не может быть ни один из самых распространенных языков мира, неизбежно буржуазно-культурный и буржуазно-классовый». Именно этот тезис был повторен И. В. Сталиным на ХVI съезде партии. «В период победы социализма в мировом масштабе, когда социализм окрепнет и войдет в быт, — говорил он, — национальные языки неминуемо должны слиться в один общий язык, который, конечно, не будет ни великорусским, ни немецким, а чем-то новым».

«Революционная» лингвистическая теория академика Н. Я. Марра, важнейшее достижение которой было утверждено таким образом на съезде партии, высоко ценилась и за другие «достоинства». В докладе «Основы планирования научно-исследовательской работы», с которым Н. И. Бухарин выступал 6 апреля 1931 года на 1-й Всесоюзной конференции по планированию научно-исследовательской работы, было отмечено: «Во всяком случае, при любых оценках яфетической теории Н. Я. Марра необходимо признать, что она имеет бесспорную огромную заслугу как мятеж против великодержавных тенденций в языкознании, которые были тяжелыми гирями на ногах этой дисциплины».

Учение Н. Я. Марра, имевшее такую поддержку, долгое время навязывалось его последователями и после смерти ученого (20 декабря 1934 г.) как якобы единственно приемлемое для советской науки. Однако отрицание Марром национальных границ, особой роли русского языка в процессе перехода к мировому на территории СССР, полное отвержение старой науки, требование форсировать создание искусственного всемирного языка, дружба Марра с Покровским, сходство некоторых его идей с идеями Бухарина — все это вынудило Сталина в послевоенные годы развенчать «новое мышление». После выступления Сталина по вопросам языкознания в 1950 году Марр, равно как и Покровский, оказался вульгаризатором марксизма, вроде «пролеткультовцев» или «рапповцев». В оценках современных ученых «новое мышление о языке» характеризуется как абсолютно ненаучная теория, включавшая в себя самые нелепые и фантастические идеи, соединенные с политической фразеологией, свойственной 20-м — началу 30-х годов, и послужившая лишь для того, чтобы осуществить полный разгром научного языкознания.

Утопические представления о возможности окончательного решения национально-языковой проблемы при социализме разделял в 20-е годы А. М. Горький. В 1926 году он был весьма раздосадован в своем далеком Сорренто, получив с Украины письмо с предложением перевести его роман «Мать» на украинский язык и издать для молодежи в сокращенном варианте. Протестуя против такой затеи, он отвечал: «Меня очень удивляет тот факт, что люди, ставя перед собой одну и ту же цель, не только утверждают различие наречий — стремятся сделать наречия “языком”, — но еще и угнетают тех великороссов, которые очутились меньшинством в области данного наречия. При старом режиме — посильно — протестовал против таких явлений. Мне кажется, при новом режиме следовало бы стремиться к устранению того, что мешает людям помогать друг другу. А то выходит курьезно: одни стремятся создать “всемирный язык”, другие же действуют как раз наоборот».

О самом простом способе решения такой задачи можно прочитать в сборнике статей А. А. Богданова «О пролетарской культуре» (М., 1924). Еще в 1919 году этот знаменитый автор выступил за преобразование в интересах мировой революции «варварской орфографии английского языка в рациональную, — быть может, и с некоторыми грамматически-упрощающими реформами», после чего объявить этот язык «международно-пролетарским» со всеми практическими мерами, из этого вытекающими. Идею создания общего языка трудового человечества в том же году излагал и Илья Эренбург. «Нет сомнения, — писал он, — вскоре строительство всемирного языка станет задачей не отдельных чудаков, а всего человечества… Интернациональные рабочие организации начинают понимать назревшую необходимость. Возможно, эсперанто не устоит, будет сметено чем-либо более совершенным. Для меня ясно одно: человечество приближается к тому возрасту, когда вместо лепета предков оно создаст себе новый, единый язык».

Эсперантисты, однако, видели решение национально-языковых проблем именно в русле своего движения. Они полагали, что международным языком революционного пролетариата должен стать искусственный язык, созданный в 1887 году Л. Заменгофом на основе латинской графики, грамматических и лексических элементов европейских языков. Эсперанто рекламировался как язык простой, логичный, гибкий, благозвучный, нейтральный по отношению ко всем национальным языкам. И главное — легкий для изучения. Он базируется на шестнадцати не допускающих исключений правилах грамматики. Рабочему со средними способностями, уверяли поклонники эсперанто, достаточно позаниматься три-четыре месяца по часу в день, и он будет свободно читать, писать и говорить на этом языке. В мировом движении эсперантистов объединялись сторонники разных «прогрессивных» политических партий (социал-демократы, христианские социалисты, анархисты и др.), а также беспартийные либералы, вдохновлявшиеся мечтами о мировом безнациональном содружестве людей.

Октябрьская революция вызвала к жизни «красный эсперантизм». Его идеологи, принявшись за «материалистическое» обоснование проблемы международного языка, утверждали, что начавшееся объединение общественного хозяйства в мировом масштабе с неизбежностью приведет к падению разделяющих народы классовых, государственных и языковых границ. И если еще не настало время говорить о едином мировом языке, то о всеобщем вспомогательном языке, втором для каждого, говорить было уже пора. Введение такого языка должно было, по мысли «материалистов», ускорить диктуемый ходом истории процесс ассимилирования и интернационализации существующих языков, всемерно помогать стиранию национальных различий. «Установление же единообразной коллективистской мировой системы, — писал один из лидеров советских эсперантистов Э. К. Дрезен в своей книге «За всеобщим языком: Три века исканий» (1928), — будет одновременно означать уничтожение 800 сложившихся... языков и приведение их к единому виду».

В 1917 году в России действовало около ста объединений и кружков эсперантистов, в последующем их число быстро росло. В 1921 году возник Союз эсперантистов советских стран, переименованный позднее в Союз эсперантистов советских республик. С этого времени и по 1937 год эсперантизм в СССР был популярным общественным движением, пользующимся поддержкой властей. Эсперанто пропагандировали как залог международной революции, как цемент для связи международного пролетариата, фундамент будущей всемирной федерации рабоче-крестьянских республик. Выдвигались предложения «немедленно объявить всему миру, что Российская Рабоче-Крестьянская республика при всех международных политических, экономических и торгово-промышленных сношениях с другими государствами будет пользоваться отныне исключительно международным вспомогательным языком Эсперанто». Заместитель редактора «Известий ВЦИК» П. М. Керженцев писал в январе 1919 года на страницах этой газеты: «Первая в мире Социалистическая Республика имеет все основания для того, чтобы поставить на очередь дня вопрос о международном языке и приступить практически к его разрешению: она не только может, но и должна во имя идеалов, исповедуемых ею и движущих ее, взять на себя инициативу в практическом разрешении вопроса о международном языке, обратившись к другим народам с призывом последовать в этом вопросе за нею».

Обучение искусственному международному языку организовывалось на добровольных началах, но бывали случаи, когда он преподавался и в приказном порядке. По воспоминаниям бывшего красного латышского стрелка, комиссара полка имени Степана Разина 25-й Чапаевской дивизии, во время Гражданской войны существовало глубокое убеждение о грядущей мировой революции и о необходимости интернациональной помощи в случае восстания пролетариата в европейских странах. Естественным образом возникал вопрос, на каком языке бойцы Красной Армии будут общаться с народами Западной Европы. И вот в 1921 году, приказом по армии, в которую входила 25-я дивизия, было предписано всему личному составу изучать эсперанто под ответственность комиссаров частей. Комиссар получил учебник и проводил занятия в течение двух лет. По его словам, язык изучали охотно, усваивался он отлично, отстававших не было. В 1923 году комиссар был направлен на высшие командные курсы и его преподавательская деятельность прервалась. Тем не менее, до глубокой старости он пребывал в уверенности: «будь занятия не по два часа в неделю, а по четыре, через год весь полк бы говорил на эсперанто» (Огонек. 1988. № 8). На «гражданке» международный язык изучали в клубах и кружках, в общеобразовательной и высшей школах. К концу 20-х годов организации эсперантистов имелись во всех крупных городах, язык изучали десятки тысяч человек. «Лучшие из них», как писал усвоивший эсперанто школьником Л. З. Копелев в книге «И сотворил себе кумира» (1978), принимались в особый союз «Sennacieca Asocio Tutmonda — SAT» («Всемирный Безнациональный Союз»). Принятым выдавались членские билеты — зеленые книжечки с именем и фамилией, написанными латинскими литерами, и значки: зеленая пятиконечная звезда в красном кружке. На вопрос о национальности члены союза должны были гордо отвечать: sennaciulo (сеннациуло, без национальности) и satano (сатано, член SAT).

Однако в условиях 20-х годов, когда основные массы населения СССР оставались неграмотными либо имели лишь начатки образования на родных языках, эсперантизация не могла стать всеобъемлющей. В конце 20-х годов мировое движение эсперантистов встретилось с трудностями из-за раскола между революционной частью, стоявшей на позициях Коминтерна, и «оппортунистами». В Советском Союзе эсперантисты оказались под подозрением из-за близости их руководителей к троцкистам и зиновьевцам. В результате в 1937 году эсперанто «превратился» из языка международного революционного пролетариата в «язык шпионов». Члены ЦК Союза эсперантистов советских республик во главе с генеральным секретарем Эрнестом Дрезеном были арестованы, движение разгромлено. Оно возродилось лишь в 1956 году.

Научное обеспечение государственной языковой политики в СССР в 20—30-е годы осуществлялось все же не по рекомендациям А. А. Богданова и эсперантистов, и даже не по теории Н. Я. Марра, а по разработкам ученых, сгруппировавшихся вокруг существовавшего в 1925—1937 годах Всесоюзного центрального комитета нового алфавита. Однако и среди этих специалистов было немало энтузиастов, выступавших за переход на латиницу не только сохранявших еще оригинальность алфавитов грузинского, армянского и еврейского языков, но также и русской письменности.

Хотя революция сделала явью многие мечты человечества, но «вавилонское столпотворение языков далеко еще не изжито», сетовал, например, в 1929 году известный востоковед-семитолог Н. В. Юшманов. И если «работники по всемирной речи — космоглоттисты, — отмечал он далее с сожалением, — уже давно перешли от мечты-максимум (“единому человечеству единый язык”) к мечте-минимум (“каждому народу свой язык и один общий язык для всех”)», то работники по всемирному алфавиту (космоглифисты) не отрекались еще от своей мечты-максимум: «привести все человечество к единому письму». Правда, реформаторам пока никак не удавалось преодолеть сопротивление консерваторов: «вопрос о латинизации русского языка столько же раз проваливался, сколько ставился».

В ноябре 1929 года по инициативе Наркомпроса РСФСР была создана специальная комиссия по разработке вопроса о латинизации русского алфавита, в которую были включены специалисты полиграфии, преподаватели русского языка, ученые-языковеды и другие. Возглавлял комиссию Н. Ф. Яковлев. На первом же заседании 29 ноября комиссия приняла «тезисы» председателя, в которых, в частности, отмечалось, что «русский гражданский алфавит в его истории является алфавитом самодержавного гнета, миссионерской пропаганды, великорусского национал-шовинизма», что алфавит этот и после его частичной реформы в 1917 году «продолжает оставаться алфавитом национал-буржуазной великорусской идеологии», что в настоящее время он «также служит главным препятствием делу латинизации, как других национальных по форме алфавитов (еврейский, армянский, грузинский и т. д.), так и графики, построенной на основе кириллицы (белорусская, украинская, восточно-финские и др.)». Введение нового алфавита предназначено было сменить национальные разновидности латинского алфавита во всем мире и явиться одной из решающих предпосылок, которая небывало облегчила бы языковое и культурное взаимообогащение национальностей. И, пожалуй, самое главное: международный алфавит на латинской основе мыслился как «шаг на пути к международному языку».

14 января 1930 года комиссия провела заключительное заседание и постановила: «Признать... что переход в ближайшее время русских на единый интернациональный алфавит неизбежен». В постановление были включены соображения общественно-политического, экономического и педагогического характера в пользу реформы. В нем значилось и следующее: «Русский гражданский алфавит является пережитком классовой графики ХVIII—ХIХ веков русских феодалов-помещиков и буржуазии... Он до сих пор связывает население, читающее по-русски, с национально-буржуазными традициями русской дореволюционной культуры», переход же на новый алфавит «окончательно освободит трудящиеся массы русского населения от всякого влияния буржуазно-национальной и религиозной по содержанию дореволюционной печатной продукции». Комиссия не сомневалась, что латинизация вызовет «бешеное сопротивление со стороны всех реакционных элементов, а также граждан, не вполне порвавших с чуждой интересам пролетариата идеологией», но уверяла, что время для латинизации пришло, что она будет поддержана всей передовой советской общественностью, и в итоге, согласно Ленину, представит «незначительные трудности». Комиссия предлагала осуществить переход на латиницу в течение предстоящих четырех лет, обещая в результате определенные выгоды экономического порядка уже в последний год первой пятилетки.

В наиболее полном виде доводы в пользу латинизации русского алфавита представлены в статье Н. Ф. Яковлева, опубликованной в шестой книге периодического издания «Культура и письменность Востока». Основной аргумент противников реформы представлялся автором так: «Переход на новый алфавит, ломая 200-летнюю историческую традицию русской культуры, фактически поведет к деградации этой культуры». Отводя этот аргумент, Яковлев утверждал: «Ломая эту традицию феодально-помещичьей и буржуазной культуры, мы тем самым обеспечиваем расцвет русской национальной культуры с пролетарским содержанием»; «Современный русский алфавит не соответствует темпу развития русской социалистической по содержанию культуры и именно для того, чтобы обеспечить ее дальнейший рост и расцвет, мы должны перейти на более совершенную форму графики». Далее утверждалось, что «латинская графика, как и физиология глаза и руки современного человека, ближе соответствует современному уровню развития техники, тогда как графические формы современного русского алфавита отвечают более низкому уровню развития производительных сил, а следовательно, и технике чтения и письма дореволюционной царской России». Снова обещались материальные выгоды от латинизации за счет сокращения расходов бумаги и пр. Самая же главная выгода усматривалась в идеологической области, поскольку «политически единый алфавит явится отражением в графике единства всех народов СССР и единства пролетарского содержания их культуры при всем разнообразии ее национальных форм», он «укрепит единение народов СССР с трудящимися массами Востока и Запада».

Реформаторы не реагировали на возражение оппонентов, которые отмечали явную противоречивость в их доводах — революционным признавался алфавит, который «до сих пор во многих местах служит колонизаторской политике европейских государств», а русский давно уже перестал быть таким орудием и, главное, «является единственным алфавитом, на котором издано полное собрание сочинений Ленина» (Вечерняя Москва. 1930. 7 января). Переход на новый алфавит предлагалось осуществить в течение первой пятилетки. И хотя этого не произошло, И. Хансуваров в своей книге «Латинизация — орудие Ленинской национальной политики» (1932) продолжал уверять, что интернационалист может отстаивать только латинский алфавит, так как он станет основным для всех народов при «грядущей победе мировой революции». Всякие же попытки рассматривать русский алфавит как основу письменности нерусских народов клеймились как контрреволюционные действия, которые «льют воду на мельницу буржуазии средневековья».

А. В. Луначарский и в этом случае считал своим долгом поддерживать энтузиастов-революционеров. Дух сторонников реформы письменности он укреплял не только своим авторитетом, но и ссылками на В. И. Ленина. В специально написанной по этому поводу статье «Латинизация русской письменности», опубликованной в «Красной газете», Луначарский вспоминал о своем обсуждении этого вопроса с Лениным. О реформе русской письменности последний, по словам Луначарского, высказался так: «Если мы сейчас не введем необходимой реформы — это будет очень плохо, ибо и в этом, как и в введении, например, метрической системы и григорианского календаря, мы должны сейчас же признать отмену разных остатков старины». Удерживало Ленина одно — опасность испортить дело спешкой: «Если мы наспех начнем осуществлять новый алфавит или наспех введем латинский... то мы можем наделать много ошибок и создать лишнее место, на которое будет устремляться критика, говоря о нашем варварстве и т.д. Я не сомневаюсь, что придет время для латинизации русского шрифта, но сейчас наспех действовать будет неосмотрительно». По свидетельству Луначарского, в течение всего времени, когда он руководил Наркомпросом РСФСР, поступало немало предложений о введении латинского алфавита. Он с одобрением отозвался о работе комиссии Н. Ф. Яковлева, которая уже сформулировала принципы составления нового алфавита, и выразил уверенность в том, что «в конце концов эта идея возобладает и в жизнь введена будет».

Серьезный удар по таким представлениям был нанесен в 1933 году решениями высших органов власти в СССР о необходимости перевода письменностей советских народов на кириллицу. Принципиальное решение о замене латинского алфавита у малочисленных народов кириллицей было принято комиссией под руководством М. И. Калинина в октябре этого года. По настоянию Марра грузинский и армянский алфавиты тогда же было решено не менять. Вернувшись с заседания этой комиссии в Ленинград 15 октября, Марр заявил спешно созванным сотрудникам: “Имеем неотложное задание — “латиницу” у более сорока советских народов заменить русским алфавитом”. Во время заседания ученого совета Марру вручили письмо от Л. П. Берия. “Будете в Москве, звоните товарищу Сталину, он Вас примет”, — значилось в нем. Приказ сразил академика в буквальном смысле слова — он рухнул на пол. Причиной стала мелькнувшая мысль: Сталин повторит то, что Марр услышал после совещания у Калинина от одного из присутствовавших: “Вы провалили унификацию письма в СССР”.

Однако первое официальное постановление Президиума ЦИК, реализующее эти решения, появилось лишь 1 июня 1935 года. В нем предписывалось перевести на кириллицу письменности народов Севера. Против ускоренной смены алфавитов выступал Всесоюзный центральный комитет нового алфавита, распущенный в 1937 году. В 1939 году было объявлено, что с ростом культурного уровня народов СССР латинизированный алфавит перестал удовлетворять потребности развития языков, поскольку он не обеспечивал всех условий к сближению с культурой великого русского народа. Русский язык повсюду изучался в школах в качестве второго языка. Решение об этом было принято в октябре 1937 года на пленуме ЦК партии, а 13 марта 1938 года издано постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». 7 июля этого года «Правда» уже сообщала, что русский язык становится международным языком социалистической культуры, «как латынь была международным языком верхов раннего средневекового общества, как французский язык был международным языком XVIII и XIX веков». В соответствии с постановлением СНК и Центрального комитета партии правительства союзных и автономных республик ввели с нового учебного года обязательное преподавание русского языка в нерусских школах. Латинизированная ранее письменность народов СССР с 1937 года переводилась на русский алфавит. К ноябрю 1939 года уже все народы РСФСР (около 40), пользовавшиеся латинским алфавитом, перешли на русский шрифт. Соответствующие законы принимались и в союзных республиках. Эксперименты по революционизированию языков советских народов были прекращены.

В целом российская история 20-х и доброй части 30-х годов свидетельствует, что навязчивая идея мировой революции, владевшая умами властвовавшей тогда элиты, дорого обошлась стране, ее народу. На протяжении всего этого времени не прекращалось шельмование исторического прошлого России, ее традиционной культуры, глумление над патриотическими чувствами народа. «Десятки партийных ораторов и сотни услужливых перьев на все лады изощрялись в насмешливых проклятьях «русопятам», «русотяпам», «русопетам», «мы расстреляли толстозадую бабу Россию»» и в тому подобных неисчислимых мерзостях. Уродливые формы, рожденные «пафосом космополитизма и псевдоинтернационализма» (А. Толстой), принимало отрицание всего прошлого литературного наследия, стремление противопоставлять пролетарскую культуру всей культуре человечества, вандализм в отношении исторических памятников «проклятому прошлому». Атмосфера в стране была такова, что даже употребление в стихах слов «родина», «отечество», «Россия» считалось предосудительным, старомодным, взятым напрокат у чуждых революционному духу поэтов. Уже вторая половина 20-х годов убедительно показала, что сулит духовной культуре доведенный до абсурда классовый подход. Врагами объявлялись все, кто не соглашался с антинациональной политикой властей. Псевдоинтернационалистам повсюду мерещился великодержавный шовинизм великороссов, который искоренялся с беспримерной жестокостью. Над подданным бывшей Российской Империи осуществлялся эксперимент по превращению его в некоего homo cominternicus — гражданина Всемирного Союза ССР. Собственно СССР рассматривался в программе Коминтерна государством, в котором международный пролетариат впервые обретает отечество и вместе с другой его частью, остающейся за пределами Союза, под руководством единой мировой коммунистической партии борется за установление мировой диктатуры. Своеобразное великодержавие таких устремлений находило выражение в плохо скрываемом желании — схватить за шиворот и сразить весь капитализм, как только мы будем для этого достаточно сильны. Освобождение от экспансионизма такого рода потребовало многих лет.